Алексей Юрьевич Герман, Светлана Игоревна Кармалита

## Мой боевой расчет

Этой мартовской ночью, в четыре часа, артиллерия главного калибра начала обстрел немецкого города Коблин; в Москву прилетела очередная английская военная миссия; желтые быстроходные японские крейсера вышли на перехват американского конвоя, идущего к острову Иводзима… Много еще разного и чудного творилось в эту ночь на земле.

Например, в эшелоне номер 402, двенадцатые сутки ползущем от станции Брест, старшина ВВС ВМФ сел на мешочек с иголками и заорал так, что разбудил весь вагон. Этот аккуратный мешочек из тройного брезента был привязан к рюкзаку маленького рыжего ефрейтора, демобилизованного после тяжелого ранения и возвращающегося к себе в город Боготол. Рыжий ефрейтор по профессии был закройщик и старался не для себя – вез мешочек от самых границ фашистского логова в свое ателье.

– Начнется индивидуальный пошив, – отвечал он на брань и крики старшины‑летуна, – и люди еще вспомнят меня хорошим словом, не таким, как вы. И простите меня, надо иметь соображение, а не плюхаться просто так на чужой мешок. Мало ли что в нем вообще может быть…

– А чего в нем может быть, – ревел старшина, – чего нормальные люди возят?! У меня, может, иголки в мышцы проникли…

Иголки наружные, которые на плотном, обтянутом клешами заду выделялись ушками, добровольцы вынули. Клеши же летун снимать отказался: вагон не только мужской.

Разбудили даму – старшину медицинской службы, завесили отделение одеялами, принесли две свечки, трофейный фонарик, кто что дал.

Летун из‑за одеял обвинял рыжего ефрейтора:

– Он вредитель! – кричал. – Я воздушный стрелок, для меня посадка в бою со стервятниками – наиважнейшее дело.

– Десять тысяч иголок, – рыжий ефрейтор все воспринимал всерьез. – Каждого прошу пересчитать. Каждый может убедиться, какой я человек… Мне для себя ничего не нужно, но люди обносились, а не за горами всенародный праздник…

Прибежал еще один летун с остреньким носиком.

– Предлагаю компромисс, – говорит. – Те иголки, которыми вы ранили нашего старшину, считать за брак и обменять на ближайшей станции на кое‑что в знак дальнейшего братства всех родов войск. Со своей стороны ставим тушенку. К тому же у нас музыка.

Летун из‑за занавески слабым голосом подтвердил, что в таком случае тоже отказывается от обвинения, хотя ранение и серьезное.

– Сейчас, – говорит, – вам старшина медицинской службы подтвердит… Игла могла пойти по кровеносным потокам – и тогда смерть.

– Товарищи военнослужащие, – вдруг говорит из‑за занавески старшина медицинской службы, – ну‑ка прекратите галдеть. Смотрите, что за окном делается…

Посмотрели и обмерли.

Лампочки попадались и раньше по пути, да не столько, не так мирно горели. Да что лампочки. Главное – вокзал, не тронутый ни бомбами, ни снарядами, целый‑целехонький. В высоких зеркальных его окнах медленно проплывал их эшелон, их вагон с выбитым дверным стеклом, их дымок над крышей, их темные в изморози окна – одно яркое, где горели две свечи и фонарик, – и им показалось, что даже собственные лица они успевали увидеть.

– Как сон гляжу, – сказал голос старшины медицинской службы. – Впереди нас ждет счастье, товарищи, пусть не сразу и не вдруг.

– Совсем не бомбил, – подтвердил летун. – Разве ж у него на Россию горючки хватит?!

– Ха, трамвай! – крикнул кто‑то.

И они увидели трамвай. Он шел будто по параллельным рельсам, и за его освещенными замороженными окнами угадывались силуэты людей.

Поезд тормозил. Обгоняя его, трамвай исчез в темноте под мостом.

Если смотреть с пустого перрона на медленно тормозящий вагон, если приблизиться к его схваченным морозом окнам, то будто в обрамлении фантастической листвы возникнут бледные лица, смотрящие прямо на нас из глубины вагона, прямо нам в глаза, из темных купе и из яркого, со свечками. Близко сдвинуты плечи, как на групповых фотографиях. За дверью с выбитым стеклом в сосульках, будто в раме, тоже человек в шинели и с вещмешком.

Он вздохнул, лицо закрылось голубоватым паром дыхания, и возник титр – название картины: «Мой боевой расчет».

Его фамилия была Кружкой, на фронте – Кружок или Кружка, в зависимости от отношения. Имя – Сергей, на фронте Cepera, дома всегда Сереженька. Подробность тем более важная, что демобилизованному по тяжелому ранению голеностопного сустава гвардии сержанту, кавалеру ордена Ленина, бывшему механику‑водителю САУ‑100 – тяжелой самоходноартиллерийской установки – не было еще восемнадцати.

Сережа еще раз вздохнул, сам себе кивнул почему‑то. В глазах мелькнула растерянность, но из тамбура один за одним выходили проводить и попрощаться, даже пострадавший от иголок летун явился.

Паровоз ушел на сменку, высвечивая матовые рельсы, по которым Сергею не придется дальше ехать. Проводник‑кавказец заиграл на аккордеоне, как на гармошке, на одном регистре. Из офицерского вагона прибежал майор‑танкист в кителе нараспашку и сразу обнял Сергея сильной своей рукой. Может, он один сейчас понимал, что творилось с Сергеем, и все сжимал его ласково и любовно.

– Что нюхаешь? – спросил он. – Дым отечества?

– Почему дым? – удивился Сергей.

– «И дым отечества нам сладок и приятен», вот почему…

Из предрассветной мглы показался новый паровоз. Этот потянет без него, без Сережи. Из соседних вагонов тоже подходили, играл уже кто‑то другой, с переборами. Рыжий ефрейтор вдруг подарил пять иголок.

– Надо иметь понятие, какое богатство, и не транжирить…

Вдруг все хором запели: «Гремя огнем, сверкая блеском стали…» И так стояли и пели, пока поезд без свистка не дернулся. Тогда попрыгали в вагоны и пели из двух тамбуров, и теперь не они провожали Сергея, а он их, и даже пошел вслед и сколько успел, махал рукой.

Последний вагон пропал, опять матово засветились рельсы.

Сергей остался на пустом перроне под высоким ледяным, начинающим уже желтеть небом и вдруг ощутил странное одиночество, какое не ощущал с детства. Будто и не домой приехал.

Недавно выпал снег, и Сережа пошел по перрону, на котором еще не было следов.

Позади загрохотало. Темный, без огней, поднимая снежную пыль, превращая ее в поземку, не тормозя, шел на запад воинский эшелон, который тащили два паровоза.

Дом был дореволюционной постройки, деревянный, двухэтажный, с уютными резными балкончиками и глупой резной башенкой со скрипучим флюгером. Здесь, в этом доме, на этом бульваре, вон там, ниже на пруду, где зимой был каток, прошло Сережино детство и отрочество. Юность образовалась сразу в один день на воинской железнодорожной площадке. А через три месяца уже и зрелость. Чего там разделять.

Больную ногу Сергей пристроил на мешок, вытянул – стало удобно. Он сидел и глядел на собственные окна – три справа от водостока на втором этаже.

– Так приехал он домой, невеселый и хромой, – пробормотал он сам себе, подумал и переделал: – Развеселый и хромой. – Но и это тоже не понравилось. На шинном заводе кончилась ночная смена, на улице сразу началось движение, и на бульваре стали появляться люди. Легковая машина, опасаясь выбоин на дороге, включила дальний свет, и в этом дальнем свету он сразу же увидел Зинку. Зинка закрылась от света муфтой, на руке еще была сетка. Машина проехала, и Зинка обезличилась: прохожая с муфтой, и все. Вот уж не думал Сережа, что это знакомое, мешающее жить чувство вернется так сразу, будто и не было полутора лет. Не давая этому комку под ложечкой поселиться надолго, он коротко и пронзительно свистнул.

Зинка остановилась, как на веревку наскочила. Затем повернулась, побежала назад, знакомым жестом придерживая высокую грудь, и исчезла.

Сережа ощутил силу и легкость в плечах, но не пошевелился. Должна же она вернуться, не на фабрику же обратно топать.

Зинка вернулась с конвоем из двух теток. Те остались на углу, а Зинка торопливо затопала к дому. Сережа снова свистнул. Зинка тут же остановилась, зато конвоирши, сдвинув плечи и помахивая кошелками, пошли к ней от угла.

– Авиацию еще вызови! – выкрикнул Сережа.

Тетки угрожающе зашипели.

– Гражданки, – сказал Сережа, – вы свободны… А ты, «корзина», останься…

– Да они ж тут обнюхиваются, – взвыла одна из теток. – Совесть надо иметь, мы со смены…

Зинка снова пошла. И он увидел, как ахнула, как сложила кулачки на груди – варежек на руках не было. Он не захотел вставать из‑за палки, продолжал сидеть, пронзительно насвистывая.

Тетки тоже подошли. Лица у обеих были похожие – сестры, что ли, напряженные были лица, – вдруг повернулись разом, как в упряжке, и потопали прочь.

– Ну какая же я «корзина», – Зинка смеялась. – Вот рассчитывала, оторвет тебе башку, некому будет меня дразнить. – И вдруг заплакала: – Вот дурак какой, «корзина, корзина»…

– Дрезина, – сказал Сережа. – Я тебе туфли‑лодочки привез.

– Не возьму, тоже мне ухажер нашелся из яслей…

– Ладно, скажешь, что я тебе продал, за шесть тысяч. Ты мать с бабкой предупреди. Я им не писал.

Зинка, зачерпывая ботиком снег, подошла к нему Он поймал ее за ноги, она рванулась. Но он пальцем выковырял снег из ботика и поглядел на нее снизу. Лицо у Зинки было усталым, она была старше Сережи лет на десять – его мука, его боль, его несчастье или счастье, кто разберет. С седьмого класса, как она к ним в дом переехала.

– Нога цела или протез? – Зинка забрала у него мешок.

– Погляди‑ка, чего у меня есть. – Сережа, расстегнув шинель, показал орден Ленина.

– Твой?

– Да нет, один генерал подарил, но приказом оформил.

Они подходили к крыльцу, когда входная дверь отворилась, и в ее темном проеме он вдруг увидел мать.

– Зиночка, – мать вышла в платке и в валенках на босу ногу, – мне приснился странный, дивный сон, что Сережа вернулся и свистит под окном. И маме снилось, представь, то же самое… Ты же знаешь, я не верю в приметы. Мракобесие чуждо мне… Сережа! – вдруг крикнула она. – Сережа! Боже мой, это же Сережа! Откуда ты, почему ты с палкой?.. Ты ранен?!

– У него орден! – кричала Зинка и плакала. – У него орден Ленина, он герой, плюньте вы на эту ногу… Он жив и герой, жив и герой…

– Сережа, что с тобой, Сережа…

Пламя в плите горело ровно и сильно. На плите бак – помыться с дальней дороги. От плиты и от бака на кухне жарко и влажно. Ничего не изменилось на кухне, только меньше вроде стала. Дверь из кухни закрыта – боялись разбудить бабку, она была сердечница. Мать плакала, все время хотела целовать Сереже руки, просила раздеться и показать рану на ноге.

– Покажи мне, я же твоя мама… – Было почему‑то мучительно.

– Рана украшает мужчину, – зачем‑то говорила мать. – В девятнадцатом веке хирурги за большие деньги наносили шрамы на лицо… Байрон хромал, но это не помешало ему быть Байроном…

Пришла Киля из второй квартиры, Зинкина соседка.

– Дождалась, дождалась, – говорила мама. – Вернулся, и герой…

У Кили убили сына и мужа, она принесла мужнин пиджак и галстук и, пока Сережа примерялся, напряженно смотрела: раскаивалась, что принесла.

– Габардин чудный, – говорила при этом. – А если похоронка на Толика ошибочная?..

Пиджак оказался мал, и Киля обрадовалась.

– Давай будить все равно, а?! – И они с мамой стали накапывать бабке капли. – Все равно она поймет – махоркой тянет.

– Сережа и запах табака у нее никогда не соединятся. Мальчик, обещай мне бросить. Все позади, все позади…

Сережа по узкой лестнице поднялся в башню и сверху увидел, как мать с Килей пересекли коридор. В башне было холодно, пусто, в углу лежал волейбольный мяч, в нем еще был воздух – его позапрошлогоднее дыхание. Сережа расшнуровал мяч, выпустил воздух и понюхал, но пахло только резиной.

На лестнице он услышал, как мать говорила бабке про Байрона и как задыхающимся голосом бабка сказала:

– Сейчас я только приведу в порядок свое лицо, чтобы на нем было только счастье, только счастье…

Сережа спустился вниз, встал на руки. Из заднего кармана тут же выпал дареный хромированный браунинг «Сереге на день рождения». Он сунул его за сундук, опять встал на руки, пошел по коридору и свистнул:

– Если вам так мешает моя нога…

Пол вестибюля в школе был выложен плиткой, палка противно лязгнула об эту плитку.

Было тихо, шли уроки. В вестибюле пахло морозом и дровами. Высоко, на третьем этаже, шел урок пения.

За длинными неподвижными рядами ватников, пальто и укороченных перешитых шинелей Сереже послышался вдруг вздох и шевеление.

– Фа‑а, фа‑а, – тянул наверху голос.

Пальто на вешалке раздвинулись, и в них появилась длинная лысеющая голова. Голова принадлежала математику Рабуянову.

– А, Кружкой, – негромко и без удивления сказала голова. – В отпуск или по ранению?! Как там наши, кого видел?!

И в ответ услышал счастливый бабкин смех. Где это там и кого это там мог видеть Сережа?!

– А я карманника выявляю, – объяснила голова. – Стыдно признаться, и такое бывает. Пойдем пока к нам.

Они пошли к учительскому отделению, не видя друг друга за рядами пальто. По дороге Сережа привычно большим пальцем оттянул гимнастерку, орден на груди сел ровнее.

– Можно было бы бросить на выявление старшеклассников, но что‑то в этом есть порочащее юную душу, согласись. Вот сижу в гардеробе, скоро лаять научусь… – Рабуянов захихикал.

Сережа забыл о ступеньке, споткнулся и уронил палку. Нагнулся, ударился лбом о лоб Рабуянова и сразу выпрямился. Рабуянов держал палку в вытянутых руках.

– Прости меня, Кружкой, – сказал Рабуянов. – Ах, какая война, какая страшная война… Люди, железо, все к черту… А я, брат, совсем старичок. Позволь, ты же танкист, а эмблема артиллериста?

– Я на САУ, такой танк, только башня не вращается, но считается артиллерией…

– Знаю, знаю, не сообразил… – закивал Рабуянов. – Выступишь на вечере, все‑таки первый орден Ленина в нашей школе… Я сейчас…

Он исчез между пальто. Там раздался вскрик и возня. Пальто зашевелились, закачались. Рабуянов втолкнул в учительское отделение мальчика лет одиннадцати, сразу же захлопнул дверь и встал в дверях.

– Что это значит? Зачем? Что за бессмысленная гадость?

– Я ничего не делал, – сказал мальчишка. Глаза у него были близко посажены, руки в цыпках и пятнах йода. – Что вы хватаетесь? Вы мне кость сломали. Ответите…

– Молчи, – беззвучно затопал ногами Рабуянов. – Что будет, если я сейчас выйду к классу и скажу, что ты вор?.. Это на всю жизнь, на всю жизнь… Сейчас или ты замолчишь и задумаешься, или ты погиб, пропал. – Рабуянов сел и долго, тяжело дышал. – Иди, – сказал он, – никому не рассказывай… Принесешь перчатки и шлем, что там еще – не помню… Марш в класс! – Мальчишка сморкнулся и исчез.

– Это что – Вовка, брат Перепетуя? – Сереже стало жарко, он расстегнул воротник.

– Ах да, – Рабуянов слабо махнул рукой, – ты же с Перепетуевым‑старшим… Не надо было тебе его сманивать, он же был близорук…

– Вы слабо себе представляете… – начал Сережа. Все в нем напряглось, даже в голове взбухло. – Слово «сманивать» не совсем подходит… Я понимаю, в сорок первом вам не было пятидесяти пяти…

Сережа встал и опять, как на грех, уронил палку. И они оба опять стали ее поднимать.

– В общем, так, – Сережа выпрямился, – выступать я не буду: варенье отдельно – мухи отдельно. Я пришел учиться, я не кончил две четверти и хочу их закончить… Могу пойти в сто десятую…

Помолчали. Зазвенел звонок.

– Скорый суд не самый справедливый, – медленно сказал Рабуянов. – Впрочем, что я могу тебе ответить? Ты герой, а я нет. Я очень прошу тебя учиться в нашей школе. Твое возвращение к учебному процессу будет иметь огромное воспитательное значение для всего детского коллектива. Пойдем в класс…

– Сначала к Алексею Петровичу, я понимаю…

– Алексей Петрович умер… Школе нужны были дрова, и он со своими легкими работал на лесоповале… Наш доблестный тыл – не такие пустые слова, Сережа. А директорствую теперь я…

В конце коридора было яркое окно. Топилась печь, рядом читала книжку дежурная пионерка. Она встала и отдала салют. Сережа подумал, что Рабуянову, но тут же понял, что нет – ему.

– Алексея Петровича хоронили четыре школы, – сказал Рабуянов. – Даже трамвайное движение остановилось…

Сережа вспомнил, как горела первая в его жизни самоходка.

Везде был глубокий снег, одна их самоходка стояла на прошлогодней траве – вокруг нее все растаяло, – и они забрасывали ее снегом, она шипела. Потом им приказали отойти, и комбат с помпотехом стали открывать люк ломом и кувалдой. Помпотех обжег руку, Сережа подбежал, дал свою рукавицу и увидел, что помпотех плачет. Лицо у помпотеха от горелой солярки было черное, жирное, и слезы катились, не оставляя на этой солярке следа. От самоходки пахло не только горелым металлом, и Сережа, не разбирая дороги, побежал прочь.

Позже, уже на могиле, они дали залп из башенных орудий в сторону немецких позиций…

Рабуянов толкнул дверь, и они вошли в класс. Сережа задохнулся. Удлиненные, в квадратах, предвоенные окна были залиты ярким светом, отсвечивала доска. Класс был такой же: ничего, ничего в нем не изменилось, он возник, как из сна.

– Ребята, – сказал Рабуянов. Он заложил руки за спину и покачался на носках, поглядывая на потолок. – Полтора года назад из нашего предыдущего десятого «б» ученики Карнаухов, Перепетуев и Кружкой… – он поискал слово и нашел: – самолично ушли на фронт. Карнаухов и Перепетуев пали за честь, свободу и независимость нашей Родины. Ученик Кружкой воевал танкистом‑артиллеристом, был ранен, стал героем и теперь выразил желание учиться в вашем классе опять.

Класс зааплодировал. Пожилая «немка» Ксения Николаевна – из памяти всплыло прозвище «Ксюня» – тоже хлопала, высоко подняв к близорукому лицу руки с зажатым в пальцах мелом, и улыбалась.

– Куда ты хочешь сесть, Сергей? – Рабуянов обвел рукой класс, будто все места были пустые.

Сергей сдул с губы пот, пошел к задней парте, там было единственное свободное место, рядом с худенькой, почему‑то испугавшейся девочкой.

– Может, ты хочешь что‑нибудь сказать? – Рабуянов все качался с носка на пятку.

Все обернулись и смотрели на него. Лица, высвеченные солнцем, плоские как блины. Они были не виноваты в том, что учатся здесь, а он вернулся оттуда. Так же, как не виноваты в том, что больше всего на свете ему хотелось туда, обратно. Он покачал головой, сел и тут же сообразил, что все остальные стоят. Тогда сделал вид, что просто положил палку, и встал.

– Ну так, – торопливо заговорил Рабуянов, кивнул, и все с грохотом сели. – Дежурные, внимательнее выявляйте малышей в дырявых валенках. Дырявые валенки – это возможность ТБЦ. – Поднял палец и вышел.

Слева от Сергея стоял шкаф, те же самые облинялые гуси и утки таращили на него стеклянные глаза – утка‑казарка, утка‑нырок…

– Я не буду никого вызывать, – Ксения Николаевна потерла длинные свои пальцы. – У всех у нас приятно и радостно на душе… – И тут же не сдержалась: – Приятно и радостно. Переведи, Гладких. – Взглянула на тощего и сконфуженного Гладких, опять передумала и сказала: – Я прочту вам замечательную поэму Генриха Гейне «Лесной царь». Ее содержание вы знаете из удивительного перевода Жуковского…

И, закинув голову, поблескивая очками, вдруг помолодев, она стала звонко читать по‑немецки, на языке, так не похожем на сиплые выкрики из колонн пленных.

Парта скрипнула, и Сережа увидел, что соседка рядом с ним уже другая – крупная, ярко‑рыжая, цветная какая‑то. Сережину палку она отодвинула. Он с трудом вспомнил ее. Это была Лена.

– Спасибо тебе за варежки, и за шарфики, и за варенье, – сказал он.

Лена посмотрела на него не мигая и положила перед ним листок серой бумаги. Четким, как типографским, почерком на бумаге было: «Сережа, я любила тебя и люблю всю жизнь», – и был нарисован сам Сережа с палкой и самоходкой под мышкой.

Сережа посмотрел на нее, но она сидела, отвернувшись к окну. Ухо красное, через него просвечивало солнце.

– «Кто скачет, кто мчится под хладною мглой, ездок запоздалый, с ним сын молодой…» – напряженным, по‑прежнему звонким голосом начала читать перевод Ксюня.

– Ах, конец войны, конец войны, такой длинной и страшной, что будто до нее ничего не было, – сказала женщина в цигейковой шубке, пока продавщица в коммерческом магазине взвешивала двести граммов карамели «дюшес». – Дюшес – значит груша… – Женщина повернулась к Сереже. Шубка цигейковая, а рукава у шубки суконные. – Груши бывают поразительных форм, с яркими красными пятнами на боку. Они тяжелы и красивы. Видели ли вы груши?! – Она засмеялась и пошла к выходу, оставляя за собой запах духов.

– Чудно пахнет, – вторая продавщица у дверей даже воздух понюхала.

Купил Сережа сто граммов зелененького «дюшеса», вышел на крылечко. И тут же:

– Ваши документы…

Не патруль – милиционер‑сержант подкатил на трофейной БМВэшке. Сам в коляске, за рулем – хмурый дядька в квадратной бобриковой куртке. Мотоцикл трещит, стреляет, ну сейчас развалится. А эти сидят, будто так и надо, смехота! Тон у сержанта специальный, милицейский, шинелька старенькая, довоенная, подогнана по фигуре.

«Не воевал, нет, у воевавших глаз другой», – думал Сережа.

Милиционер, видно, понимал, о чем Сережа думает, и начал сатанеть:

– Вы демобилизованы. Воинские знаки различия, я полагаю, снимать пора…

– Вы палочку подержите, а я сбегаю, отпорю…

Необходимости нет, но Сережа расстегивает шинель, прячет документы в нагрудный карман, пусть на орден посмотрит, полезно для такого принципиального.

– Сейчас побегу, – успокаивает его Сережа, – разбегусь только. Но вы за мной не ездите, у нас улица тихая, – это Сережа, что мотоцикл гремит.

– Я вам сделал замечание по форме одежды, только и всего.

– А я – что трофейную технику гробите. Ее в коммерческом магазине не купишь.

Милиционер тоже начал расстегиваться. У него на шинели крючки, под шинелью – вот в чем дело – кителек приталенный, на нем – «Красная Звезда».

Мороз лезет под шинель, а с ним ощущение глупости: выставились друг на друга орденами и трясутся от злости.

Неожиданно мотоцикл еще раз выстрелил и заглох, возвращая улице привычные звуки. Стало слышно, как плачет малыш, просит у бабушки купить краски.

– Вы в горючку нафталин положите, – примирительно сказал Сережа и отправил в рот дюшесину. – У нашего бензина октановое число другое, его фрицевская техника не выносит.

– А если бензопровод разъест? – вдруг возник «квадратный» водила. – Это же прямое вредительство, товарищ Чухляев.

– Тогда учись бегать, – посоветовал Сережа.

Кричали воробьи, звенели трамваи, улица была залита солнцем.

К лифту не пройти.

– Ты куда, солдатик?

На стуле вяжет тетка перчатки с обрезанными пальцами. Тетка та же, перчатки те же.

– Я к Карнауховым.

– Ляксандра Петрович погиб, нету никого, нету. Иди, солдатик, иди.

Про Александра Петровича Сережа не знал.

– Я не солдатик, я сержант, гвардии сержант…

– Все равно иди, солдатик… Никого нет, всех растрепало, а какая семья была… Это ты Маратика ихнего сманил…

– Я никого не сманивал. – Сережа сам слышит срывающийся от бешенства свой голос. – Воинский долг, я полагаю…

– До долгу Маратику полтора года было… Потом бы возмужал и, может, от пули бы уклонился… А Женя Перепетуев, может быть, не потонул бы, а как‑нибудь выплыл… Сила бы в руках другая была…

Лязгнул и вниз спустился лифт. В лифте – начальник шинного завода полковник Гальба. У Гальбы астма, он сутулится и дышит на все парадное. Козырнул Сереже, оставил ключ, бах дверь, крик, лифт опять наверх пошел.

– Вы здесь провязали шарфики всю войну…

– Иди, солдатик, иди…

Зинку он дождался на трамвайной остановке. Провожал ее Уриновский, инженер, тоже с шинного, славный тихий человек, ленинградский галстучек из‑под ватника, брючки наглажены с мылом, довоенные ботиночки. Это на морозе‑то.

– Здравствуйте, Сережа… Мы все, кто с вами знаком, гордимся вами…

– Рад стараться… А у вас шапка новая…

С Уриновским вроде полагается пошучивать, уж такой человек.

– Эта шапка – премия, верх – спиртовая кожа… Кому ордена, кому шапки… Что поделаешь?

Уриновский с Зинкой под ручку, у Сережи с той стороны палка, не взять. Тот понял, что Сереже неприятно, сначала вроде брючину стряхнул, после руки в карманы. Сережа угостил всех дюшесом.

– Можно я возьму вторую к вечернему чаю?

Зинке неловко стало, взяла из кулька и положила ему в карман ватника пять штук.

– Вы меня не так поняли. – Уриновский ужаснулся и попытался отдать конфеты.

Подошел трамвай, Уриновскому дальше в Затон. Его шапка, верх – спиртовая кожа, еще раз проехала мимо них.

Дом был деревянный, одноэтажный.

Пронзительно засвистев «Синий платочек», Сережа отодвинул обледенелую доску у перепетуевского крыльца.

– Башка выросла – не пролезть, – сказал он Зинке и сунул под крыльцо голову.

После яркого света балки и промерзшая пыль медленно проступали в своей морозной сухости. Ключ был, как всегда, под ведром. Сережа медленно выполз из‑под крыльца, поцарапал‑таки шею гвоздем.

По яблоневой ветке бегала сорока и трещала, и снег осыпался с ветки белым туманом.

– Говорят, они тревогу оповещают, – сказала про сороку Зинка. – Я этого Вовка всё в общаге Рыбфлота видела. А ты как сказал про воровство, меня как кольнуло… У Перепетуя твоего лицо было, а у этого – как у мартышки.

– Ладно врать‑то, – Сережа приложил к шее снег. – Одна ты у нас чудная.

Зинка держала кошелку на большом пальце и крутила ей.

– Они, Перепетуи, беспокойные, – сказал Сережа, – у них кровь такая…

– Не пойду я, – тоскливо сказала Зинка и отдала ему кошелку. – На, бери. Что ты меня таскаешь!.. – Но в дом вошла.

В доме было жарко, чисто и душно. Радио тихо бормотало о событиях в мире. Все в мире наступало, обступало, горело, взрывалось.

По улице, за окном, шел морячило с девушкой. Морячило все говорил, а девушка все слушала, слушала.

– Морячило – языком точило, – почему‑то обозлилась Зинка. – А тебя вон в покойники произвели…

На стенке фотография Перепетуя, маленькая, уголок затянет черным плюшем. От жакетки, что ли, мать отрезала. А вот они трое – сам Сережа, Карнаушка, Перепетуй и длинная тень карнаушкиного папаши с фотоаппаратом у их ног. И на этой фотокарточке тоже уголок в черном плюше.

– Точно… От жакетки отрезала, – крутит себя Зинка. – Вон строчка. А что ты жив‑здоров – что ей, мамаше…

– Что ж ей меня, выстригать?.. Ты чего – мамаша, мамаша?!

Стоп. Вот и Вовок, собачья шапка мимо бокового окошка.

Сережа стоит за печкой, прижимая Зинку к табуретке. Надо подождать, увидит – рванет. Не догонишь с хромой ногой.

Шаги… Красная с мороза щека и красное ухо мимо печки, обернулся – поздно: Сережа уже у двери.

– Здравствуй, рыцарь мой прекрасный. Что ты хмур, как день ненастный? Удивляешься чему?

Ноги у Вовка дрожат, постоял, сел на стул, руку себе на колено положил, соображает, сообразить не может.

– Холодно, – сказал Сережа.

– Здорово, Кружок, – голос у Вовка сорвался, – покажи орден.

– Спасибо, я покушал. – Сережа вроде не слышал.

Вовка только теперь увидел Зинку и засмеялся.

– У меня, Вовок, – Сережа вроде смеха не слышал, – скажу я тебе по секрету, не только нога, мозжечок тоже весь вдребезги. – Для убедительности Сережа погладил себя по затылку, показывая, где находится мозжечок. – Два медицинских генерала еле сшили… И справочка есть. Ввиду особых заслуг перед Родиной разрешить гвардии сержанту Кружкому… Справку маршал Конев подписал… Отдельно про тебя, Вовок, нет, но подразумеваешься… Я тебе, Вовок, в тыщу раз страшнее буду, чем все твои другие страхи. Ложись, снимай штаны, гад мелкий.

Сережа заорал, толкнул табуретку и стал выдергивать ремень.

– Уйди, – завизжал Вовка, – уйди!

И побежал вокруг стола, вправо, влево. Не схватить. Все неожиданно стало походить на игру. Испуг у Вовки проходил. Зинка все сидела, сцепив пальцы. Он мотнулся еще туда‑сюда и хихикнул. Тогда Сережа рявкнул, поднял тяжелый круглый стол за край и перевернул. Так, что нырнувший под стол Вовка сразу оказался под ногами. Сережа поймал Вовку, почувствовал, как тот впился зубами в руку, перехватил другой рукой за штаны, бросил на диван и рванул штаны вниз. Увидел на секунду белую, дрожащую от страха и напряжения попку и сильно, с оттяжкой ударил ремнем. И так хлестнул еще раз пять или шесть.

Вовка завыл и завизжал, и захлебнулся собственным плачем.

– Так, – бормотал Сережа, – так, так, что купил, что продал? По улице пойду, спрашивать буду… У всех…

Вовка заколотил по дивану руками.

– Ты мне нервы не демонстрируй, я, брат, таки‑и‑и‑х нервов повидал… Штаны надевай, я сказал… Так я пойду по улице‑то?!

– Ты мне мышцы перерубил… – рыдал Вовка. – Хочешь, чтобы все ковыляли, как ты… Да?

Сережа встал и опять стал снимать ремень.

– Подойдешь, я дом сожгу… И пусть эта корова отвернется. Что она подглядывает, я зна‑а‑а‑ю…

– Тьфу! – Зинка ахнула, двинула табуретом, зазвенели пустые банки.

– Что у тебя хорошо, это мыслей много, – сказал Сережа, забрал у Зинки кошелку и выложил на печь потертый летный шлем и довоенные свои калоши.

– Отдашь, скажешь, спутал… Кому должен – посылай ко мне… Скажешь – деньги Кружку передал, мол, а он отдаст… Увижу у общаги Рыбфлота – отхлещу при всех… А ну, встань… Что надо говорить в таких случаях?

– Не знаю чего, мне вставать больно…

– Спасибо, – сказал Сергей, – спасибо за науку, товарищ гвардии сержант, вот что надо говорить. Папаша и брат у тебя пали смертью храбрых за честь, свободу и независимость и так далее… Так что поезд отправляется. И место твое у окошка справа, а не в тамбуре. Так будет, даже если я за тебя в тюрьму сяду…

Темнело, когда они с Зинкой подходили к дому. Зинка молчала, крепко сжав рот, а Сережа старался идти без палки, держа ее на весу, наперехват.

– Давай я понесу, – предложила Зинка.

– Все в свое время, все в свое время. Только так и не иначе… Иначе зачем?!

На катке на пруду зажглись огни, там было празднично и печально. Сразу и вдруг заиграл духовой оркестр. Тревожными легкими тенями пронеслись по бульвару птицы.

– «В сталь закованы, по безлюдью, на коне своем на белом»… – забормотал Сережа.

– Что это?

– Стих вспоминаю.

Крыльцо было скользкое. Зинка быстро поднялась, Сережа поотстал и сразу же услышал, как бухнула дверь и крякнул замочек.

– Открой, а то дверь сломаю, – Сережа потряс дверь.

– Вот как тебя разбирает… – Зинка за дверью развеселилась. – Иди зубы чистить и спать…

Оркестр на пруду все играл.

– Не будет этого никогда, – сказала Зинка, – это ж просто цирк…

Сережа услышал, как она прикрыла вторую дверь и сразу же там упал таз.

– Сыночек, ты?

Замок наверху не щелкал, и крюк не брякал: дверь скорее всего была приоткрыта, и мама слушала. Сережа сплюнул и медленно пошел наверх под стук собственного сердца. Он несколько раз менял выражение лица, будто примериваясь, с каким войти, и остановился на насмешливом. Глаза у матери под очками большие, желтые, этими глазами мать показывает, показывает в угол. В худых руках – вафельное полотенце.

– Надо сразу же вымыть руки. В военное время гигиена тоже способ борьбы с неприятелем… – И опять глазами в угол.

В углу на вешалке куртка и шинель – милиция или НКВД, но младший комсостав. Мама и управдома‑то боится. Раздеваясь, Сережа незаметно трогает шинель, шинель теплая и сырая, давно сидят.

– Давно сидят? – говорит он матери. Оправляет гимнастерку, тут он, орден, и нашивки тут. Он гладит мать, как маленькую, по голове, по редким волосам, и шагает в комнату.

В комнате горит люстра, не одна нижняя лампочка – всю врубили, и бабкина канарейка пронзительно трещит, радуется довоенной иллюминации. За столом бабушка и еще двое. Милиционер с Красной Звездочкой, тот, от коммерческого магазина, и «квадратный» водила в штатском.

– А на столе, как поезд, мчится чайник, – объявляет бабушка, чтобы нарушить молчание, и тонкой красивой своей рукой проводит над носиком чайника и над паром.

– Лычки явились спарывать? – Сережа вырубает часть люстры. – У нас лимит, а мне заниматься надо, я в школу поступил.

– Протез, протез, – вдруг громко и нараспев объявляет старшина. – Вечно ты, Арпепе, панику порешь… Есть нога, я сразу вижу. Верно, мамочка? – это он бабушке.

– Вообще‑то есть две, – Сережа садится к столу, нога на ногу.

Человек со странным именем Арпепе держит чашку двумя пальцами, указательный замотан тряпочкой, она в мазуте, глаза у него печальные, на старшину не глядит.

– Отбой воздушной тревоги. Это они мотоцикл закурочили, – объясняет Сережа маме и бабушке. – Плесни кипяточку, – это уже старшине. – Преступное ротозейство, статья, я так понимаю?

И, медленно отдуваясь, принимается хлебать кипяток в полной тишине.

– Кому статья? – после долгой паузы тихо спрашивает мама.

Мотоцикл он им сделал часов в пять утра. Сережа курил, пускал дым в ледяные в черном небе звезды. Арпепе слушал, как четко стучит движок, и пришептывал про себя.

– Почему вас Арпепе зовут? – спросил Сережа.

– Америка России подарила пароход… Из комедии «Волга‑Волга». Это, как его техника работает, – сказал старшина Чухляев и пошел звать Гречишкина.

– Жеребец неразумный, – Арпепе не обиделся.

Гречишкин оказался старлеем, длиннющим, в хромовых, несмотря на мороз, сапогах и в шинели без ватника. Тоже послушал движок, склонив птичью голову к плечу и широко расставив ноги. Потом залез в коляску и приказал:

– Трогай…

Вроде Сережа из его хозяйства.

Чухляев запрыгнул на заднее сиденье уже на ходу.

Ночью прошел снежок, и свет от фары лег на этот снежок желтым праздничным блином. Город спал, трамвайные рельсы и те запорошило. Казалось, в городе никто не живет, все ушли куда‑то. В одном лишь Доме горело окно, это было странным.

Гречишкин глядел прямо перед собой, сложив губы трубочкой, должно быть свистел. Обогнали двух ломовиков с высоко груженными телегами.

– Гробы, – сказал из‑за спины Чухляев и покашлял. – В госпиталя развозим ночью, чтобы не травмировать население… Война‑войнишка…

Впереди, как средневековый замок, без единого огня громадой возникал недостроенный перед войной колхозный рынок. Свет фары мазнул красный кирпич. Гречишкин покрутил перед собой рукой в кожаной перчатке – лицо скучное – и опять покрутил: «кочегарь, мол, подшпоривай!».

Ах так, Гречишкин! Сережа газанул, коляску на повороте подбросило. Гречишкин подскочил и этой же рукой в перчатке придержался за борт. Холодный ночной воздух заполнил легкие. Еще поворот, опять ахнула рессорой коляска. Чухляев сзади покрепче прихватился за Сережины плечи. Ледяной ветер высек Сереже слезы из глаз, мелко разбрызгал по щеке. Пролетели Сережин дом, Зинкино окно было темным, и весь дом темный. Еще поворот – и другая рука в перчатке легла на борт. Как скоростеночка, товарищ Гречишкин, как скоростеночка, старшина?! Наши лычки – это лычки, попробуй получи. У Гречишкина на красной щеке тоже слеза сосулькой.

Вот и желтая милиция. Яркий свет из окошек. Перелетели через сугроб так, что внутри все ёкнуло, проскользили боком. Заглушил Сережа двигатель – тишина.

Гречишкин осторожно вытащил из коляски длинные свои ноги, кивнул и – тощий, прямой, похожий на циркуль, – зашагал к освещенной двери. На ступеньках остановился и как‑то очень конкретно ткнул не то в лампочку над головой, не то в небо, спросил, словно по делу:

– Слушай, Кружкой, вот звезда горит, а свет от нее движется и долетит сюда через миллион лет, когда мы с тобой того… Тебе от этой мысли противно?

Чухляев сзади зашевелился, включаясь в мысль начальника.

– Да нет, – сказал Сережа, – фиг с ней, пусть себе…

– Вот и мне не противно. Ты оформляйся к нам, Кружкой, а я тебе еще паек дам, пальто там купишь, шляпу… А то завоешь с детишками. Степи, лесостепи, пустыня Гоби называется?! – И, не прощаясь, ушел.

Из открытой форточки диктор объявил: «„Рассвет над Москвой‑рекой“ Мусоргского». Сильно пахло бензином. Сережа пощупал бензопровод.

– Рассвет угадывается, – согласился Чухляев и кивнул на форточку. – Ты оформляйся, если он говорит… Нужно… У нас бандитизм, разбойная группа. В Дровяном милиционера убили, наган забрали, вооружаются. С другой стороны, всю страну праздник ждет, а их – стенка, тоже пойми. Э, танкист, да ты мокрый…

Только сейчас они увидели, что запасную банку с горючкой вывернуло и бок у Сережи весь мокрый. И пола шинели, и сапог. Вот откуда бензином воняло.

Чухляев втянул носом воздух и захохотал:

– Нафталин, нафталин! «Ложи да ложи, Чухляй, в горючку нафталин». Теперь ты, Cepera, для моли неуязвим. – Помог стянуть сапог и, глядя на Сережкину босую ногу, сказал: – Чудная нога. Отчего хромота – не понимаю.

В школьном дворе стоял морской офицер, смотрел на окна. В сереньком рассвете лицо его казалось бледным – белым пятном на белом снегу.

– Поторопимся, промедление отразится на балле. – Рабуянов поднял руки вверх и хлопнул в ладоши.

Перед Сережей – чистый белый лист, хоть стихи пиши. Все эти формулы ушли за полтора года, стерлись из головы. Как не было.

Было стыдно не от того, что забыл, – ну черт с ним, забыл, – а от того, что лицо и лоб покрылись крупными каплями пота. Как в детстве, когда бабушка поймала на краже рубля. Капля со лба хлопнулась на тетрадный лист, на серединку. Промокать или так сдавать – чистую тетрадку с этим пятном, все, что из себя выдавил, мол, привет и наилучшие пожелания?

Сережа вырвал лист и стал делать самолетики.

Неожиданно на бумажную эскадрилью Сергея лег тоже выдранный лист – решение его задачи. Потом полная в рыжих веснушках Ленина рука вытащила из‑под задачи самолетики и поставила у чернильницы носами друг к другу. Лена глядела на него не мигая. Глаза серые, навыкате, грудь высокая, большая, – небось сама крышку парты не видит.

– Мигни, – тихо говорит ей Сережа.

– Что?

– Мигни.

Она кивнула не мигая.

Мигни – не мигни – не тем надо было заниматься. Поздно: Сережа увидел рядом наглаженные полосатые брючки и оттопыренный, подштопанный карман пиджачка.

– Серьезно и просто. Весьма серьезно и весьма просто. Пройди, пожалуйста, Кружкой, к доске…

Ему бы не идти, а он встал и пошел, с этим, не своим, Лениным листком. И даже стал переписывать, пока вдруг не обернулся и не положил мел.

Станция уже отключила свет, в коридоре пробухали шаги. Все это не похоже на урок, скорее на воспоминание об уроке или на сон. Проснешься – встряхнешься и не понимаешь, почему сон такой мучительный.

Он улыбнулся, пожал плечами и пошел на место.

– Что же ты, Кружкой? Пи эр квадрат, что же ты? Все правильно, Сережа.

Рабуянов, кажется, начал что‑то понимать.

– Чему равен пи эр?

«Береза бе‑е‑елая, бе‑е‑лая…» – ниже этажом шел урок пения.

– Что у тебя было по геометрии до фронта, Кружкой?

– «Хор». – Сережа покашлял и улыбнулся.

В коридоре зазвенел колокольчик.

– Видишь, «хор»…

Все сидели, не вставая.

– Ты защищал нас своей грудью, Сергей. – Голос у Рабуянова набрал силы. – Так неужели же мы не подтянем тебя по математике?.. И вымой наконец тряпку, дежурная. Мытая тряпка – это вежливость… Постой, Сережа. – Рабуянов открыл форточку и сам подождал, когда все выйдут, затем достал папиросы‑«гвоздики». Сергей протянул свои. – Мы хотели назвать лучшее пионерское звено твоей фамилией.

– Сейчас навряд ли. Будет двусмысленность, я полагаю… – Сережа кивнул на доску и хмыкнул.

– Ты был ранен только в ногу?!

– И в живот, – засмеялся Сережа. – В ногу и в живот… Я просто забыл… Другие впечатления вытеснили…

– Верно, верно… Детский ум впечатлителен, но пи эр квадрат, ну, напрягись, мальчик… Такой простой, такой красивый вывод…

– Три и четырнадцать?

– Счастье! – закричал Рабуянов. – Счастье, ты все вспомнишь… Перед тобой нет преград. Ты станешь географом, объездишь страну. Только сейчас надо напрячься, мальчик… Настоящий табак, – посмотрел на папиросу, – голова кружится. А у меня и радость, и горесть, и сомнение. Младший Перепетуев сегодня явился в школу и все принес. Оказывается, у него было два шлема, то есть тоже был шлем, он спутал… – Рабуянов вздохнул, притушил папиросу и спрятал в пустую очечницу. – Видишь ли, я совершил с этим Перепетуевым педагогическую бестактность… Я так боюсь, что дети…

– Я не скажу.

Рабуянов покивал.

– Перепетуев не любит и боится тебя.

– Ничего, полюбит…

Рабуянов покивал и тут же махнул рукой. Наверху заухало. В классе над ними что‑то бросали на пол. Неожиданно круглый плафон отделился от стержня и, будто тормозя в воздухе, брякнулся на пол, взорвавшись серебристыми осколками.

– Ах! – сказал Рабуянов и взялся рукой за галстук. – Ах! – Затем подпрыгнул, будто в воздухе ногами перебрал, и исчез.

В класс заглянул военрук, под мышкой картонный щит – «Максим» в разрезе. Попросил закурить. Взял папиросу трехпалой рукой и сказал, как разговор продолжил:

– Дисциплину держать не умею. В роте держал, а здесь не умею… В артель пойду пианино настраивать. – Покривился, как от зубной боли, и пошел.

Предстояло военное дело, свободный для Сережи час.

«В сталь закован по безлюдью, и с башкой своей тупою», – зазвучало в Сережиной голове, он прошёл на свое место, сел и открыл геометрию.

Он на секунду закрыл глаза, а когда открыл, понял, что спал. Напротив сидела Лена и глядела на него. В руках у нее была деревянная трехлинейка с крашенным серебрянкой штыком.

– Ты кричал во сне, – сказала она, – два раза… Таким сиплым голосом…

– Что же я кричал? А‑а‑а? О‑о‑о?

– «Огнем и гусеницами»… Ты два раза крикнул «огнем и гусеницами». Ты был в бою во сне…

– Да нет…

Форточки в классе были открыты, и он замерз.

– Тебе сейчас трудно… Пока ты не встал на ноги, я хотела бы быть рядом. Я сильная, я отличница, я ворошиловский стрелок…

– Я встал на ноги, даже на три, – он постучал палкой по полу, – и мне не трудно…

– Нет, ты одинок. Почему ты не пишешь ребятам?..

– У тебя что‑нибудь от них?

Лена молчала, Сережа подумал, что что‑то случилось, и испугался.

– Давай, что есть! Давай!

– Они живы, они живы! – крикнула она.

Перед ним была фотокарточка – его экипаж, все в одинаковых белых варежках. Его самоходка с заснеженными триплексами. Крайний справа, где всегда стоял он, – новенький, крепенький такой паренек, лычек не различить. И поперек пяти пар валенок химическим карандашом: «Лене Бацук от расчета тяжелого гвардейского орудия, 100 мм. Гвардии лейтенант Зуб».

Кроме этого новенького вместо него, ничего‑ничего у них не изменилось: у лопаты на броняшке черенок новый белый – и все.

– У лопаты – новый черенок.

– Что?

Он все смотрел в лицо тому новому.

– Мы самоходы грязные, – сказал он, уже чувствуя, что несправедлив и что говорит зря. – Про нас песня есть: «пареньки пригожие, на чертей похожие»… Нам ветошь нужна – мазут с рожи обтирать, а ты белые варежки… Мы их девушкам в роте связи раздаривали…

– Что ж мне было вам ветошь посылать?!

Лена встала и пошла. В конце прохода она зацепилась юбкой за учительский стол, и юбка сильно порвалась. Лена прихватила ее и выбежала.

Сережа посидел, глядя на фотокарточку, посвистел, потом взял оставленную Леной винтовку и фотокарточку, а когда вышел, столкнулся с Вовкой Перепетуем. Тот стоял на цыпочках и держал над головой кочергу.

– Пошел вон. – Сережа вынул кочергу из скрюченных Вовкиных пальцев.

– Дяденька, выстрельте в форточку… – рядом с деревянной винтовкой пританцовывал первоклассник. – Бахните один разочек.

Коридор был украшен флажками. Готовился вечер.

Вечером по дороге в милицию он толкнул Зинкину дверь. Дверь была не заперта. В комнате было холодно. У швейной машинки сидела Киля в пальто. Она качалась на стуле, вытянув толстые усталые ноги.

– Зинка где пропадает?

– Фасон «красное солнышко», – сказала Киля и потянула со швейной машинки платье. – Солнышко‑колоколнышко… Было мое, теперь Зинкино. Каждому овощу – свой срок, верно?

– Чего дрова не сушите, трудно за печку положить?!

– Эх ты, дурачок. – Киля все качалась, свет – тень на глазах, свет – тень. – Эх ты, дурачок, дурачок, дурачина…

– В каком смысле?

Киля вдруг засмеялась, смех был неприятный, резкий и фальшивый.

– Иди, Сережа, мама сердится, когда ты к нам ходишь.

Она встала, взяла его за плечи и вытолкнула на лестницу. На улице Сережа подумал о странных глазах Кили, но народу было много, громко говорило радио, и он быстро пошел, слушая, как приятно скрипит под ногами снег.

В милиции, в дежурке, маленький штатский плачущим голосом сразу стал объяснять почему‑то Сереже, что он никого не хотел оскорблять.

– Горилла и неандерталец – суть разная. Но ведь, согласитесь же… Тридцать восемь – девяносто семь, телефон театра… Скажите, что я в заточении…

– Сядьте и не бегайте… – дежурный на Сергея посмотрел с вызовом, на штатского прикрикнул: – От вас в глазах рябит… Постового гориллой оскорблять не надо было.

Вышел Гречишкин, обрадовался Сереже, сказал, что на ночное дежурство надо являться позже, чтобы Сережа привыкал, и добавил:

– Организм отдыхает только во сне. Это уж ты мне поверь.

И, провожая Сережу в большую прокуренную комнату за дежуркой, поинтересовался: неандерталец – это все‑таки кто? Обезьяна?

– Нет, человек, но доисторический, наш с вами предок…

– Тогда вроде нет состава оскорбления, – Гречишкин пожал плечами. – Он голый бегал?

– Артист, что ли?

– Ну, какой артист, неандерталец…

– Если жарко – голый, а если холодно – в шкурах… Я так думаю…

– Тогда все же состав есть, – решился Гречишкин. – Тем более артист без документов…

Гречишкин поставил греться макароны в котелке и стал надувать резиновую подушечку.

– У моей супруги перина. Вернулся я с войны, полежал с женой, – он завинтил у подушки пробочку, – кручусь, верчусь… Нет сна. Пошел, принес шинель, положил на пол рядом с супружеской нашей постелью, «шлюшку» эту под щеку – и храпака. – Неожиданно заботливо для всей своей угрюмой внешности он сунул подушку‑«сплюшку» под голову Сергею: – Ее на два часа хватает. Ну, как прибор… И поет, и поет… – и вышел.

За окном пошел мягкий, спокойный, как в детстве, снег. И, уже понимая, что спит, Сережа успел удивиться, что подушка поет романс из «Бесприданницы».

Когда он понял, что не спит, «сплюшка» была плоская. В дежурке пел женский голос.

Там было много странно одетых людей. Ту, что пела, Сережа узнал сразу: артистка, которую он видел в коммерческом магазине.

Артистка кивнула Сереже, улыбнулась и сказала тому маленькому:

– Вот кого тебе надо рисовать, вот где неподдельные черты…

– Заводись, – сказал Сереже Гречишкин.

Уже на улице Сережа услышал, как артистка запела опять.

Гречишкин вышел следом и, залезая в коляску, как в тот раз, махнул рукой.

– Вокзал, базар, завод и по кругу… Ну так давай! Неподдельные черты! – крикнул Гречишкин. – Нарисует тебя, Сергуня, и будешь на стене висеть.

Шел сырой крупный снег. Навстречу от вокзала шел лейтенант с пустым рукавом, мешком и чемоданом. И, как тогда, когда приехал Сережа, следы этого лейтенанта четко возникали единственными на белом снегу.

Площадь у вокзала была пустынная, потом из снега появились двое – милиционер и солдат с винтовкой. Пока милиционер докладывался, Гречишкин снял перчатку и голую руку сунул ему под мышку.

– Обидно! – прервав доклад, вдруг крикнул милиционер. – С ноября проверяете, в вокзале ж стекло, я из вокзала вижу… Шо он про меня подумает?

– Правильно подумает! – заорал в ответ Гречишкин. – Ты и из окопа бы нос не высунул… Разорался бы, что все слышишь… На тебе вон снег тает… И это постовой! На постовом лед на шинели – вот это постовой. У постового наган теплый, сердце еле теплое, а требуха может быть ледяная, вот что такое постовой… А ну, марш! Пошел, Кружкой!

И опять они понеслись в снег.

– «В сталь закован, по безлюдью на коне своем на белом»…

– Ты чего бормочешь, Кружкой?

– Стих вспоминаю…

– Ну, давай, давай…

Пролетели бульвар, дом, у Зинки светилось окно.

Трамвай‑мастерская стоял у перекрестка. Бабы чинили рельсы и громко ссорились. Гирлянда лампочек была крючком зацеплена за провода, очищенный рельс в ее свете был синий.

Высокие дома на проспекте – темные, ленивые.

– Посигналь, где он там…

Сережа посигналил. Пусто, пусто. Только в снегу борозда, вроде мешок тащили.

– Чего это здесь тащили?

Гречишкин молчал, сжал рот, как кошелек, достал длинный фонарь, трофейный.

– Посигналь еще.

Сережа сигналит. На дороге мешок, да нет, не мешок, это человек ползет на четвереньках. Прямо посреди проспекта ползет. В свете фары зад у человека кажется неправдоподобно большим.

Мотоцикл рвануло и занесло, Гречишкин на ходу выпрыгнул – старлей, дурак, чуть не перевернулись! Мотоцикл через рельсы – и в сугроб. Руль с фарой – не повернешь… Рвет, рвет Сережа руль – повернул. Высветил и увидел, что тот как полз, так и ползет, а Гречишкин бегает вокруг, справа забегает, слева, не знает, что делать.

Мотор заглох. Тихо, снег идет.

– Прыгать зачем, зачем прыгать?! – орет Сережа и пинает заглохший, забитый снегом мотор.

Человек все ползёт – не остановить. Это Чухляев. Голова без шапки, странная, черная, будто обугленная, разбитая, а кровь на морозе прихватило. Он ползет, а они рядом идут, снег загребают, непонятно, как его взять.

– Чухляй, Чухляй!.. Давай перевернем…

Перевернули. Лоб почти чистый, глаз не видно, опять все в крови. Ушанку не наденешь – что там под волосами? Гречишкин расстегнул на себе шинель, задрал китель, и Сережа рвет на его голом тощем животе нательную рубаху.

– Не справился с управлением, – шипит ему Гречишкин. – Это руль, это тебе не рычаги.

– Прыгать не надо, я в цирк не нанимался…

Сережа порвал наконец рубаху.

– Чистая рубаха, – говорит Гречишкин. – Хорошо, вчера в бане был…

– Гречишкин, – вдруг довольно громко и ясно говорит Чухляев, – погляди, у меня на лице белое или красное? Если глаза порезали, я полагаю, белое должно потечь.

– Красное, красное, – Сергей с Гречишкиным перебивают друг друга. – Ну, хочешь, ты головой потряси, мы еще посмотрим… Я вот и фонариком посвечу. Ты, братуха, полз‑то не туда, – Гречишкин вроде бы смеется, – ориентир потерял. Кто тебя, братуха, кто? Ты видел? Наган‑то где, наган?!

Но Чухляев молчит.

– Нету, нету нагана, эх, нету, – негромко бормочет Гречишкин, охлопывая шинельи ватные штаны Чухляева.

Мотоциклетная фара совсем тусклая, из желтой на глазах делается красноватой.

Где‑то из снега возникает звук и три ярких огонька. Сережа берет у Гречишкина фонарь, идет на рельсы и светит, останавливая трамвай‑мастерскую.

С утра оттепель, южный ветер на глазах сгоняет снег, все хлюпает, чавкает. У Сережкиного дома лошаденка стоит, прямо в большой луже. На телеге письменный стол расположился, чертежная лампа к нему привинчена, стул, кожей обитый. Кабинет приехал, ей‑богу.

Сережина мама стоит, и Зинка мелькает – появилась, царица.

– Сереженька, постой, чтобы не украли… – Глаза у мамы странные. – Зиночка просила подежурить, чтобы не украли…

– Письменный стол‑то зачем? Она чего, наследство получила?

Но мамина спина уже исчезла в парадной. Слышала Сережин вопрос, да не ответила.

А вон Зинка с Килей в ватничках нараспашку.

– Простудишься, Зинк… Самый ветер поганый, – Сережа кивает на флюгер на башенке дома, тот мотается как сумасшедший.

– Я вышла замуж, Сережа…

Киля повернулась и ушла. Ничего не взяла с телеги. Лошадь переступила в луже. На лице Сережи дурацкая улыбочка, он ее чувствует, да не убрать.

– За Уриновского? Да ведь ты его не любишь.

– Люблю. – Зинка затрясла головой и даже ногой топнула. – Не любила, но люблю, люблю.

– Да ведь я бы на тебе тоже женился…

– На лето женился бы… Не смеши, я тебя на десять лет старше… Я его люблю, он мой муж, он талантливый, редкий человек. Его просто одеть надо… И он робок, но со мной он обретет силу.

– Да ведь он прыщ! – кричит Сережа. – А я люблю тебя и всегда буду любить. Гони эту лошадь, да и его гони… Я прошу тебя, Зина, Зиночка. Что ты с собой творишь?

– Не порти мне все, уйди. – И замолчала.

Так они стояли долго, и Сережа подумал, что на всю жизнь запомнит этот кусок обнажившегося из‑под снега тротуара, колесо телеги в глубокой луже и вороний крик.

– Мне кажется, я сейчас упаду, – тихо говорит Зинка. – Лягу здесь и завою. Помоги мне быть счастливой, Сережа…

– Да как, Зиночка?..

– Давай стол внесем, – вдруг сказала она, – у нас гости. Начальник завода будет.

Они взяли фанерный самодельный стол с раскачивающейся лампой – лампа задевала Сережу по лицу – и потащили.

– Восемь тарелок, – закричала с лестницы Сережина мама счастливым голосом, – но чашек только семь!..

– Зачем она тебе, Сергуня, нужна, кляча старая, – сказала Киля, подмигнула Зинке и поцеловала Сережу в щеку.

На табуретке в прихожей лежали две маленькие гантели. Сережа поднял их двумя пальцами и вдруг столкнулся с таким ненавидящим взглядом Зинки, что оторопел и вышел.

– Когда я вспоминаю свою жизнь, – сказала бабушка и подтянула черный суконный галстук на белой блузке, – отчего‑то в памяти всё зимы… Проклятые и счастливые, но всё зимы… Отчего? Спустись вниз и будь весел. Ты задашь своей душе хорошего… перца. Но это надо делать иногда. Я стала очень уродлива?

– Ты прекрасна… – Сережа улыбнулся.

– Улыбку, Cepera… Нет, это гримаса, – вздохнула она, – греческая маска отчаяния. Тогда уж не улыбайся, мой маленький героический дурачок. Твоей матери нужно так мало для счастья, а тебе так много. Прости меня. – Она долго бряцала замком, открывая, и ушла.

Сережа заплакал. И плакал долго. Потом вышел.

Он не успел спуститься, к дому подъехала машина Зинкина дверь открылась, лег яркий желтый квадрат, и он увидел входящего туда начальника шинного завода Гальбу с тортом и услышал его сиплое астматическое дыхание. Когда уже закрывалась дверь, там возник Уриновский в Толикином габардиновом пиджаке.

Школа горела яркими огнями. Сережа вспомнил, что сегодня вечер, и постоял напротив освещенного подъезда.

– А Чухляев‑то помер, – сразу объявил ему дежурный. – Мы с его супругой с утра пикши нажарили, а в госпитале подполковник вышел, по фамилии Бок, объяснил, что медицина оказалась бессильна… А у нас пикша теплая в ватнике завернута. Неожиданность. – Нос у дежурного длинный, печальный, ему легче, когда он Чухляя ругает: – Притупление бдительности. Как он мог подпустить, при оружии же был…

– У нас тоже, – некстати говорит Сережа, – сгорит машина, если боезапас не рвануло, сидит механик, даже руки на рычагах, а подуешь – кучка пепла. Облачко такое взлетит – и кучка…

В груди у Сережи будто туда кирпич втиснули.

– Изжога, – сказал он дежурному, – хлеб неудачный.

– У меня тоже тяжесть. – Дежурный достал пеструю трофейную коробочку, насыпал соды, оба съели с ладони, запили из графина, каждый понимал, что это болит душа.

В углу милиционерша – из детприемника – вырезала из газет заглавные буквы.

Гречишкин влетел стремительно на ногах‑циркулях, длинный, набритый, пахнет одеколоном.

– В столовой винегрет, Кружкой, чудный был, тебе оставлено… Из‑за нагана Чухляева убили, вооружаются мало‑мало. В России оружия полно, но на Урале кордоны сильнее, так что к нам покуда не прошло. Заявление, фотокарточки принес? А не принес, так и не ходи зря. Чего ходишь?!

– Я же езжу, паек у тебя не беру, – Сережа медленно подбирал слова. – Ты же знаешь, Гречишкин, мне учиться хочется. Географом стать.

– А что это вы мне тыкаете?!

– А вы чего?

– А что я?

– А кто мне только что тыкал?!

– Не один ты прыгаешь! – орет Гречишкин.

Милиционерша встала и пошла к дверям. Ноги опухшие, на шерстяных носках войлочные тапки.

– По форме переодеться, – заорал ей Гречишкин, – или в артель пуговицы делать!.. Еще кружева на заду нашей.

– Ах ты, Гречишкин, Гречишкин. – Сережа нацедил в кружечку воды из бака, попил и пошел.

– Дежурный! – заорал Гречишкин. – Не пускать сюда посторонних, здесь оружие.

С крыши лило, вода попала за воротник.

– Cepera, – вдруг позвал сзади голос Гречишкина, – ну, прости ты меня, нервы сдали. – За шиворот или на голову ему, очевидно, тоже попала вода, и он выругался: – Кадровик сегодня весь день из‑за тебя печенку сосал, что ты неоформленный. У нас же не артель – НКВД… – И поскольку Сережа не оборачивался, крикнул вдруг с несвойственной ему тоской: – Может, мне с твоей мамашей поговорить?..

Сережа проснулся и сразу сел на кровати, как подбросило. Сон был тяжелый, неосвежающий. Дождь по окну не стучал, на кухне топилась плита. И голос бабушки говорил:

– Эта Молоховец написала поваренную книгу, будучи дворянкой. Книга рекламировалась как лучший подарок молодой хозяйке. А сын ее учился в морском корпусе, его там и задразнили «лучший подарок молодой хозяйке». Впечатлительный юноша застрелился.

– Ужас, – сказал голос Кили, – готовила бы себе… И что некоторых тянет писать…

Сережа вытащил из‑за дивана портфель, в портфеле не было учебников, лежало полено, медный пестик и губная гармошечка.

– Так, так. – Он тихо прошлепал в коридор, вытащил из‑за сундука пистолет и сунул в портфель под полено.

Сержантские лычки с гимнастерки он спорол ночью, под лычками было не тронутое жизнью сукно. Он провел по нему пальцем.

– Мальчик, – сказала мама в дверях, она принесла стул от Зинки.

Сережа вздрогнул, он не услышал, как она подошла.

– Конечно, ты вправе не согласиться и высмеять меня, – мама заметно волновалась. – Через редакцию я достала бутылочку рыбьего жира… Ну, не жарить же на нем! – она всплеснула руками.

За ночь лужи подмерзли, каблуки ломали лед, выпуская воду. Во дворе Уриновский колол дрова.

– Доброе утро.

– Доброе утро.

За углом Зинкина форточка открыта, тянуло паром, пахло табаком и едой.

– Сережа, – Зинка подбородком повисла на переплете, – ты только не сердись, возьми туфли, отдай маме.

– Гони…

– Хочешь рюмку водки? Как в буфете. – Зинка исчезла и через минуту передала в окно завязанные в газету туфли‑лодочки, рюмку и моченое яблоко.

– За победу? – Зинка не знала, что предложить.

– Понимаешь, Зинк, я вот приехал, и жизнь так складываться начала, что я все получаюсь наковальней. Хлоп по мне да хлоп. А я вот не хочу. Так что за победу…

Сережа выпил, отдал в форточку рюмку и пошел, запихивая на ходу лодочки в портфель. Они не влезали, и он выбросил полено.

Батарея наконец вышла к Балтике. Огромные, в глине и песке, самоходки стоят у воды, и пена набегает на гусеницы. Расчеты шляются вокруг, лениво загребая песок кирзой.

Сережа с лейтенантом Зубом лежат на моторах, от моторов несет жаром, пахнет соляркой и дюренитом. Хорошо так лежать.

– Разобьется, Проня… – лейтенанту даже говорить лень.

Башкир Проня принес большой, как голова, стеклянный поплавок.

– На марше сядешь и порежешься.

– А я его ветошью, товарищ лейтенант, ветошью…

– Да зачем он тебе, Проня?

– Краси‑вый…

– «Я помню море, я измерил очами»… – Командирская самоходка у самой воды, командир батареи сидит на толстой пушке верхом. Краска у пушки обгорела, и небо, и багровое солнце отражаются в хромовом командирском его голенище. – Какими очами измерил, а, Кружкой, не помнишь?!

– Жадными, товарищ капитан. У Пушкина жадными…

– Грозными, Кружкой, грозными… «Я измерил очами грозными его»…

Нету моря и батареи нет. Гудит, шумит, как море, вокруг Сережи воскресный базар.

– Маша гадает, что кого ожидает, стоит рубль отдать и дать Маше погадать… Маша гадает, кто чего ожидает…

Маша – девочка лет пяти, укутанная, как тюк. У матери на груди фанерный ящик с билетиками, на ящике вертушка. Маша вертушку крутит – и за рубль, пожалуйста, счастье. Несчастье никому не предсказывает, всем одно счастье. Правда, с оговорочками – после победы.

– Сколько ж она рубликов навыкрикивает? – сердятся вокруг бабы. – Коммерсанты, мать их…

Однако сами билетики покупают, читают и в сумочки прячут.

Глаза у бабы с билетиками тоскливые, все счастье продает, себе, видать, ничего не осталось.

Расположился Сережа у дощатого сплошного забора на бревнышке, палку на видное место положил, рядом портфель, на газетке иголочки – подарок ефрейтора, и цена чернилами сказочная, хрен кто купит. Входит в задачу, чтоб не купили.

Сидит Сережа, играет на губной гармошечке. Если человек, по мнению Сережи, заслуживает внимания, ему можно и портфель приоткрыть. Вот подошел один деловой такой. Трофейными часами интересуется. Приоткрыл Сережа портфель, «пушка» делового не интересует.

– Там у вас лодочки, – говорит, – туфли…

– Неужели? – удивляется Сережа. – Как это они туда попали? – И портфельчик на замок.

Или вот. Шлеп‑шлеп по луже валенки в калошах пробежали, калоши красные, высокие, румынские. Туда пробежали, обратно пробежали, остановились. Покашляло над калошами, сплюнуло. Хороший инструмент – гармошечка: можно в небо смотреть, можно в землю – не рояль. Этот, в калошах, – одноглазый, тоже отвоевался. Под мышкой курица.

– Дрезден или польская? – это он про гармошку. – Три сотни – и разбежались… Эмаль битая?

– Сам ты битый. Не продается…

– Быстрее думай, – не сдается мужик, – я здесь с бабой… У бабы‑то два глаза, увидит – не даст купить…

Ну нахал, сам присаживается, сам портфель открывает и сам же плюется.

– Это себе оставьте… Чего‑о вез? Тьфу! – и исчез.

Красный кирпичный недостроенный рынок углом вдается в «толчок», как нос огромного парохода. В глубоких заколоченных его арках темно, как в шлюзах.

Рядом старуха, продает летчицкие унты, готовальню и глобус. Стучит, стучит по унтам варежкой.

Подошла рыженькая в ватнике, показывает мальчику глобус. Крутятся над затрушенной сенцом лужей синие океаны, желтая Африка…

– Фантастично, молодой человек, – говорит Сереже старуха в очках. – Когда Леонид сгорел, я не могла приблизиться к его письменному столу… В ящике аттестат лежал, так я его не отоварила. А сейчас жду – может, вот его унты купят или готовальню… Да еще по унтам похлопываю: «Купите, купите, обратите внимание»… Как там у Маши в билетике – «Горе успокоится, боль утихнет»… – голос у старухи делается пронзительным и неприятным.

К горю и боли привыкают… Существует инстинкт выживания…

– А вот мы не продаем, – дергает рыженькая носом, – а нам тоже жиров хочется.

Губы у старухи начинают трястись.

«Хочу любить, хочу всегда любить», – играет вдалеке пластинка.

– Вот именно, – говорит чей‑то голос.

Сережа берет портфель и идет вдоль забора. А вон Вовка Перепетуй лампочку продает, где‑то свинтил.

Купил Сережа пирожок с картошкой и обратно к своему бревнышку.

Старуха в очках глобус тряпочкой протирает и что‑то шепчет, шепчет.

Только Сережа сел, здрасьте, пожалуйста: одноглазый в румынских калошах прибыл, без курицы, и нос разбит. На месте не стоит, приплясывает, характер такой забавный, сто движений в одну минуту и все с улыбочкой.

– Видал нас? – и сам смеется. – И яйцо в кармане разбил. – И тут же бродячей собаке: – Тузик, Тузик, покушай, – и карман с желтком вывернул.

– А кура где?

– Где, где, баба забрала… Решился, беру твою пушку. Тыща пятьсот и разбежались, притом с портфельчиком…

– Вали отсюда, калоша заграничная.

– Почему? – Мужик все приплясывает.

– Вон Тузика купи за тысячу пятьсот. Ох, у него блох…

– Здесь свое ценообразование, – неожиданно говорит мужик и садится рядом на корточки. – Тебе мой нос ни о чем не намекает?

И на корточках сидит – все равно успокоиться не может:

– Дают – бери, а бьют – беги. Знаешь?

Сережа смеется, только все внутри дрожать начинает. Берет у мужика деньги, начинает считать.

– Это кто ж тебе про тыщу пятьсот сказал?

– Люди, народ то есть…

– Ах, люди? А пушка – соседа попугать?..

– He‑а, кабаны огород подрыли…

– Ах, кабаны. – Сережа прячет деньги в карман и молчит.

И мужик попритих, заробел, Сережа это чувствует.

– Так я побежал, – мужик берет портфель за край. – Туфельки заберешь?

– Зовут тебя как? – Сережа локтем придерживает портфель.

– Федя…

– Ах, Федя. Ах ты, Федя, Федя… – Сережа говорит без выражения и еще раз: – Ах ты, Федя.

Старуха связала унты веревочкой, под веревочкой тряпочка, чтобы не протерлись. Готовальню в карман, глобус под мышку, уходить собралась.

– Бабушка, – говорит ей Сережа, – там на выходе старшина‑милиционер, так вы пошлите его сюда. Скажите, сотрудник Кружкой спрашивает, только не позабудьте, а то я ноги промочил…

– Что за жизнь, господи, – мужик заплакал. – Отпусти меня, начальник, отпусти…

– Я бы отпустил, да вот про ценообразование узнать охота…

Мужик все плакал, вытирая лицо шапкой.

– Вон моя баба, – как выдохнул он и показал шапкой, – вон идет. Она тебе сейчас вторую ногу отремонтирует.

Костистая высокая тетка действительно шла к ним. Сережа даже успел подумать, где же у нее курица? Но тетка остановилась, и в ту же секунду мужик рванулся, он ввинчивался плечом в толпу, мелькнули высокие калоши, серые валенки – и нету.

Не побежишь с палкой и стрелять не будешь. Портфель краем съехал в лужу, Сережа наклонился его поднять.

Выстрела он не услышал. Увидел красный шарик, вылетевший в лужу, вроде красный камешек, и после красную струю, ударившую в эту же лужу. И красную воду, стремительно приближающуюся к лицу, понял, что падает, но еще не понял, что в собственную, бьющую из шеи кровь.

Стреляли сзади из обреза, прямо через доски забора. Но этого Сереже уже не дано было знать, как и не дано было знать, как тащили его на шинели, как бежал рядом, кричал и плакал Вовка Перепетуй, как незнакомый майор‑фронтовик зажимал перебитую артерию, как толпились люди, как на рысях влетела ломовая лошадь с телегой на дутиках и как, пока его везли, старшина‑милиционер два раза крикнул, что он кончился, а майор‑фронтовик тряс головой и орал: «Гони!»

Поезд все ехал и ехал, и грохотали, грохотали, бились колеса под полом. Потом голос спросил через этот грохот:

– Ты меня слышишь, сержант? Покажи глазами, если слышишь…

Из легкого марева возникла голова пожилого человека с розовыми щечками.

– Поздравляю тебя, сержант, – сказала голова, – вчера кончилась война.

Голова пропала, осталось окно, и за окном тополь, весь в молодой зелени, кивал, кивал макушкой под ветром.

– Не успел, – сказал Сережа каким‑то комариным голосом.

– Что, что ты не успел? – опять возникла голова.

– Ничего не успел, ничего.

За окном загрохотало, там действительно шел поезд, и, когда поезд прошел, стало слышно, что где‑то играет духовой оркестр и кричат «ура».

Конец мая был жаркий, с внезапными грозами и густыми туманами по утрам.

В госпитальном старинном парке обнаружились грибы – бывают, оказывается, грибы и в начале лета. Ходячие раненые искали эти грибы и жарили их на здоровенной сковородке на маленьком костерке.

Госпиталь был у железной дороги, и воинские эшелоны без огней грохотали теперь все больше на восток. Говорили разное, но злющего госпитального кота по кличке Гитлер переименовали в Банзая. Банзай всегда приходил, когда они собирались, и, не мигая, смотрел на огонь. В этот день они сидели на скамейке втроем: Сережа, артистка, которая когда‑то пела в милиции, – что‑то у нее было с горлом, – и летчик‑штурман с «Дугласа».

Летчик жарил грибы. На путях гукнул паровоз и застучали колеса.

– Скоро Азия будет свободна тоже, – сказала артистка, – армии двинулись. Это не вагоны, это стучит история. В какое прекрасное бурное и яростное время мы живем… Голосовые связки у меня погублены, это непоправимо, что ж… Буду помрежем. Помреж задает ритм спектаклю, от него многое зависит. Я не унываю, не унываю…

– Ты чего, сержант, не бреешься? – летчик положил на алюминиевые тарелочки грибы, и они стали есть, беря грибы пальцами, обжигаясь. – Будет гроза, – сказал летчик. – Ах, какая чудная будет гроза, заглядение.

– Не будет грозы, – стал дразнить его Сережа.

– Будет, – сказал летчик, – я ногой чувствую.

– А я ногой, животом, ребром и шеей, – перечислил Сережа.

И все посмеялись: летчик громко, а Сережа с артисткой тихо – им было нельзя.

– Может, мне к вам в театр пойти, всяческие исторические предметы делать? – сказал Сережа.

– Бутафором, – кивнула артистка. Потемнело.

– Не подвела, – сказал летчик и похлопал себя по ноге.

– Бутафор – это мне интересно. – Сережа разволновался. – Книжки можно читать, какой предмет из какой эпохи и как выглядел…

Дождь застал их на полпути.

В вестибюле Сережу ждала Лена. Она сразу пощупала мокрую Сережину пижамную куртку и брюки.

– Чего рано, случилось чего? – спросил Сережа.

– Ничего. Не чего, а что… – поправила она.

За окном палаты дождь лил стеной и грохотало, и Лена стала считать, сколько секунд между громом и молнией. Потом сказала, что гроза уходит, и велела есть варенец, полезный для горла. Она стала еще увереннее, будто выросла. Сережа раздражался, но все более необходимой она ему становилась, и все больше он ее слушался.

– Ты небритый, – сказала она, – это противно, пойди и побрейся.

– У меня бритва затупилась…

– Дай тарелку. – Лена перевернула фаянсовую тарелку и стала осторожно править на ней бритву.

Дождь перестал. Так же сразу, как начался. Сережа сидел на кровати и, раздражаясь, глядел, как Лена правит бритву. В саду раздавались громкие голоса и смех: возвращались те, кого гроза застала далеко. Лена с тарелкой и бритвой ходила от окна к тумбочке.

– Не успел побриться, – сказала быстро Лена. – Ах, не успел. Подойди к окну и не сутулься, и не нервничай… Распрямись.

– Ну что ты дурочку валяешь, – Сережа скинул тапки и лег на кровать. – Варенец кислый, не буду я его пить…

– Ну как хочешь… Он не пойдет! – крикнула она в окно и славно и мягко засмеялась. – Он не в настроении… Он нынче нервный… – и засмеялась опять.

– Ты чего, ты чего?

И, уже чувствуя, что случилось что‑то, что все не просто, Сережа стал искать тапки, нашел только одну и в этой одной пошел к окну.

Широкая аллея уходила к воротам, в прозрачной луже отражалось здание с открытыми окнами. А по ту сторону лужи с мешками у ног и чемоданами стояли шесть человек – кто в кирзе, кто в хроме, кто в пилотке, кто в фуражке, кто в гимнастерке, кто с шинелью под мышкой, кто с кобурой, кто без… Весь его экипаж с 82‑й машины и рыжий батарейный повар Котляренко – «Котлетыч». И, открыв рты, глядели на него. Он успел увидеть самого себя в серой госпитальной пижаме – вместе с рамой окна он отражался в луже.

Он помахал было рукой, вроде ничего и не произошло, потом хотел крикнуть, но воздух вдруг перестал поступать в легкие, он затопал ногами, завертел головой, опять попробовал крикнуть, воздуха не было – в горле сидела плотная густая пробка, ее было не пробить. Он увидел, как они побежали вокруг лужи, и, уже садясь на пол у подоконника, услышал крик Лены:

– Доктора, ради бога, доктора! Дыши, Сереженька, дыши…

Только тогда воздух прорвался. Сережа задышал, закашлялся и, извиняясь, спросил:

– Ну и ну, откуда это взялись?

В первом часу ночи подполковник медицинской службы Бок, проходя по темному больничному коридору, услышал за открытым окном треск, пыхтение. Бок был стреляный воробей и сразу сообразил, в чем дело. Тихо поставил стул под выключателем, снял халат, как бы предъявляя китель с погонами и орденами, и, скрестив руки на груди, сел ждать, пока над подоконником не возникло рыжее усатое лицо в пилотке.

Тогда Бок зажег свет и вежливо сказал:

– Здравия желаю. Заходите, заходите… Лесенку где брали, за хлеборезкой?.. Вы пока чайку откушайте, а я в комендатуру позвоню.

Голова за окном тяжело вздохнула, придержавшись за подоконник, отдала честь и, буркнув что‑то горестное, стала исчезать.

– Молчать! Не отвечать! – больше для острастки заорал Бок. – Сестра, комендантский патруль к госпиталю, живо! Сколько раз я приказывал, лестницу на замок!

И, попив воды, объявил прибежавшей сестре и ординатору, что заезжие танкисты готовят побег этому, из двадцать первой палаты, с проникающим ранением шеи и грудной клетки. И, крикнув в окно, в темную благоухающую сиренью ночь, про дисциплинарные батальоны, которые никто еще не отменил, в сопровождении уже целой свиты прямиком направился в двадцать первую палату.

– Наглость, достигшая апогея, – бормотал по дороге Бок. – Возить лестницей так, что стены трясутся, и надеяться не быть обнаруженным! Мои наблюдения, друзья: род войск диктует ощущение безнаказанности… Я думаю, пехотинец так бы не поступил, хотя ловили мы и пехотинцев.

– Это не танкисты, это самоходы, – сказал капитан, – стомиллиметровщики.

– Тем более… – хохотнул Бок. Палата спала или делала вид, что спит.

Пижама Сережи аккуратно висела на спинке кровати, и тапочки стояли точно в коридоре лунного света.

– Палки нет, – тихо сказала сестра. – Нет палки… – потянула одеяло.

Под одеялом лежал коленкоровый диванный валик и в узелке из полотенца множество тех бесполезных вещей, которыми обрастают за долгое пребывание в больнице.

Из окна тянуло сквозняком, и красная пожарная лестница стояла как раз здесь, за хлеборезкой.

– Растут люди, – вздохнул Бок.

Он уставился на соседнюю койку летчика с «Дугласа» и неожиданно для всех рванул одеяло.

– Ах, – сказала сестра и заломила руки. – Ах, что же это?!

Там лежал второй валик и такой же узелок.

Рассветало. Они сидели у трамвайного кольца. Кто дремал, кто лениво жевал консервированную колбасу. Сытый Банзай сидел напротив, Лена сплела ему ожерелье из одуванчиков.

– Робинзон Крузо, – сказал лейтенант, – тридцать лет прожил на острове, один‑одинешенек, но сохранил для нас силу человеческого духа… Эти же поганцы, – лейтенант потряс бутылкой трофейного коньяка «Робинзон Крузо», – даже над его славным именем надсмеялись, потому что коньяк – дрянь. И на вкус и на дух.

– Жирный я стал, как гусак. – Летчик с «Дугласа» приложил к голой своей ступне сапог подметкой. – Не надо мне было гарниры кушать.

И аккуратно отложил кучу обмундировки – все ему не годилось. Был он в солдатских коротких галифе и диагоналевой лейтенантской гимнастерке. Так и пошел он к трамваю посмотреться в боковое стекло.

– Об застегнуться нет речи, – сказал ему вслед Котляренко, запихивая в вещмешок шмотки и две гранаты‑лимонки.

У трамвая уже хлопотала вожатая. Под ее руководством Проня шваброй мыл ветровое стекло. Вокруг бегал с фотоаппаратом стрелок‑радист Кордубайло.

– Смотрите сюда – птичка вылетит…

– Знаю я, какая у тебя птичка! – заливалась кондукторша.

– Внимание, снимаю, – ликовал Кордубайло. – Между прочим, личный аппарат Гитлера…

– Тьфу, тогда отказываюсь, – кондукторша спряталась за Проню.

– Сапогами не исправишь. – Летчик вздохнул и пошел обратно. – Все ж таки я боевой офицер… Отвернитесь, девушка, – попросил он Лену, – я обратно в пижаму переоденусь… Плесни еще «Робинзона», лейтенант.

– Я вас другими представляла, – сказала Лена лейтенанту. – Я патруль на рынок вызову… Я вам не за этим писала… Я о моральной помощи писала, – посмотрела на отвернувшегося, громко засвистевшего «Синий платочек» Сережу и замолчала.

– А это и есть моральная, – сказал лейтенант, – вперед на третьей передаче и никому бок не подставлять. А уж как вы нас себе представляли, Леночка… – Он отошел, сломал ветку сирени, понюхал и отдал Лене. – Так что вы уж не противоречьте, у нас на батарее тоже девушки были и не противоречили.

Ветровое стекло трамвая сияло чистотой, вожатая в белой кофте смеялась за этим стеклом, закидывала голову, и тогда была видна белая шея.

– Па‑адъем! – скомандовал лейтенант. И они пошли к трамваю один за другим с мешками и чемоданами, как на посадку. И, как при посадке, лейтенант стоял у ступеньки, пока все не вошли в вагон.

Трамвай тронулся, оставляя летчика, Леву и Банзая.

– И сколько же я на трамвае не катался, – медленно сказал Котляренко‑повар. – В тридцать девятом катался у тетки в Туле, и был я тогда еще мальчик.

Трамвай катил теперь вдоль железнодорожной насыпи, и Сережа вспомнил, как подъезжал к городу зимой.

Они обошли новый, уже густо обклеенный какими‑то объявлениями забор. Барахолка отодвинулась от рынка туда, где улица, сужаясь, спускалась к реке. Рынок же – нелепый, похожий еще недавно на огромный ржавый пароход – был в новеньких желтых лесах. Арки‑клюзы открыты, хоть насквозь смотри.

– Тю, – сказал Кордубайло про рынок, – цирк строят! Вот что значит фриц ни разу не снесся…

Они постояли и посмотрели, как ветер крутит сор между кучами строительного мусора.

– Значит, напоминаю, – сказал лейтенант. – Кружок идет первый… Мы все на расстоянии видимости… Пока Кордубайло свистит – Кружок идет, перестал свистеть – Кружок видами любуется. Но не оборачивается и не подходит. Берем всех, кто узнает Кружка, даже если мельком глянет. Трясут Проня и Лисовец. Извинения приношу я. Пол и возраст значения не имеет. Вопросы есть?

– Есть, – сказал Проня. – А если дитя?

Лейтенант печально посмотрел на него и покачал головой.

– Извиняюсь, – сказал Проня.

– Еще вопрос, – сказал Сережа. – Комдив вам дал полтора суток, сутки кончаются в двадцать часов. А если вас эшелон не возьмет?

– Ну ты, Кружок, прямо как старушка стал, – захохотал Кордубайло. – В ту‑то сторону!..

– Отставить, – сказал лейтенант. – Проходим один раз, нет результатов – идем к реке, чтобы не примелькаться. – Помолчал, с хрустом потянулся и добавил: – Ну, тогда пошли.

Они пошли между кучами мусора. Уже расстегиваясь, Сережа услышал, как лейтенант сказал, что купит все черешни.

– Черешню все время можно кушать, и вид будет натуральнее.

– Всем, кроме Кордубайло, – сказал Проня.

Раздался смех. Кордубайло сзади вдруг сразу и резко засвистел Чарли Чаплина. Так под этого Чарли Чаплина они и двинулись через площадь, а после улицей, заполненной уже в этот ранний час людьми, сворачивая то вправо, то влево, среди покупающих, продающих, распаковывающих и просто идущих.

– «В сталь закован, по безлюдью, продырявленный вторично», – пробормотал сам про себя Сережа.

От этого ему неожиданно стало весело, и он засмеялся.

Барахолку не просто перенесли, кто‑то здесь расстарался – и заборы, и сараи были побелены известкой. Красиво, хоть и пачкается. Вон мужик пошел – все штаны в побелке.

У высокого, тоже беленого, сложенного из старых шпал пакгауза разгружали с ломовиков тяжелые селедочные бочки. Весь проулок был в этих бочках в два этажа. Оттуда остро пахло рыбой, рекой и гнилью. Бочки пускали по доскам самокатом, они гремели, и Сережа перестал слышать свист.

Свиста не было, и когда бочки перестали греметь, Сережа вернулся и тут же услышал знакомый голос и увидел знакомое лицо: была Ксюня‑немка. Проня огромной своей ручищей держал ее за желтую соломенную кошелку. Ксюня сорвала с себя очки и что‑то кричала на весь базар, тряся очками в длинных своих тонких пальцах. Вокруг собиралась толпа. Голова лошади на секунду закрыла ее. Когда Сережа опять увидел их, рядом с Ксюней уже был лейтенант. Он терпеливо слушал и укоризненно качал Проне головой. А немка дрожащими руками пыталась надеть очки дужками наоборот. Потом возник Котляренко с пакетиком черешни. Кордубайло засвистел другую мелодию, красивую и грустную, ее Сережа не знал.

Они пошли дальше, и Ксюня еще немного прошла с лейтенантом.

Улица дошла до обрыва и сразу перешла в песчаную тропинку вниз к реке, в объявление, запрещающее торговлю на пляже, в стену сирени, над которой гудели жуки‑броневики. И в далекий гудок парохода.

– Рожу от свиста свело, – сказал Кордубайло. – Что, лейтенант, будет, если она не распрямится?..

– Фитилек для керосинки немка твоя пришла покупать, – сказал лейтенант. – Правда, Проня, что ты ей «хенде хох» приказал?

И захохотал так заразительно, что все стали смеяться тоже. С этим смехом вся серьезность их предприятия уходила, превращалась в чепуху, и, словно почувствовав это, лейтенант приказал всем идти на пляж спать.

– Два часа спать, дневалит Лисовец… А потом вон там транспортом по кругу и сначала.

Он кивнул вниз, там, где в реке мыли лошадей, загнав их в воду вместе с телегами.

Они пошли вниз по жаркой и узкой тропинке.

– Понеси меня, Проня, – заныл Кордубайло. – Тебе нагрузка нужна, тебе без нагрузки дамы снятся, и ты орешь…

Шутка была из тех, еще Сережкиных времен. Локоть у впереди идущего механика‑водителя Тетюкова был испачкан мазутом.

– Фрикционы новые поставил? – спросил его Сережа.

Не виноват же Тетюков, что Сережу заменил. Теперь уж всё равно.

– Да ты что, Кружок, нету нашей машины. Наша, то есть ваша, сгорела под городом Тильзит… Просто писать не полагается… И горела машина у очень красивого дома, наподобие дворца. А когда боезапас рванул, колонна такая белая сломалась. Ах, какая красивая колонна, Кружок, сломалась…

Проня впереди рассердился наконец на Кордубайло, поднял за ремень и потащил к воде.

Через два с четвертью часа, объехав на телеге знакомый уже беленый забор, они вышли на площадь и тут же наткнулись на сбежавшего из госпиталя летчика. Был он в брезентовом, вроде рыбацком, застегнутом у горла плаще, рыбацких же сапогах, потный и всклокоченный, и шагал настолько стремительно, что их сначала не узнал. Пролетел бы мимо, не схвати его лейтенант за палку.

– Кончаюсь, – сказал летчик вместо приветствия. – Сахара – это ничего… – Он затащил их за угол в тень, расстегнул плащ, под которым была больничная пижама. – Здесь еще, оказывается, один толчок в Затоне есть… Я уж туда собрался…

– Вы бы хоть рыбину носили, товарищ капитан, – посоветовал Котляренко, – а то вид, признаюсь, просто дикий…

– Я часы – подарок боевого друга – продал. – Летчик махал плащом, обдувая взопревшее тело. – А ты меня видом попрекаешь… Распоряжайся мной, лейтенант. И учти, я штурман, у меня наблюдательность исключительно развита…

– Только вы позади всех идите, товарищ капитан, – согласился лейтенант, – тогда вы вроде на контроле будете. С другой же стороны, внимание к вам публики лично вам не создаст осложнений…

Сережа пошел вперед и, когда задержался, ожидая свиста, услышал, как лейтенант сказал Котляренко:

– Вид и вид… Допустим, был товарищ на рыбалке, замерз и не может согреться…

Начиналась жара, вот что было плохо. Дышать стало трудно.

За эти два часа базар разбух, раздался, растекся. И гул стоял над ним от тысяч шагов, слов, смеха, выкриков и патефонов, патефонов…

Пыль поднималась из‑под ног. Один раз Сережа вдруг увидел Арпепе. Без бобриковой куртки, в парусиновом пиджаке Арпепе все равно казался квадратным. На согнутой руке у него сидела маленькая девочка.

Сережа сразу же дал в сторону и обрадовался, когда свист сзади не прервался.

Горячая пыль между тем все сильнее мешала дышать, он все чаще трогал больное горло рукой и все меньше воспринимал все вокруг, кроме пыли и запахов, от которых его мутило. Приближался пакгауз, там были пахнущие рыбой бочки. Сережа стал заранее готовиться к этому запаху, чтобы перетерпеть, и прошел было пакгауз, но тут его замутило так сильно, что он свернул на тропинку между пакгаузом и забором. Цветущий куст сирени, за которым он остановился, придерживая двумя руками раненое горло, тоже пахнул рыбой.

Когда Сережа с заплаканными глазами вернулся к своим, они стояли кучкой на углу тропинки и тихо и яростно, не обращая на него внимания, ругались.

– Чурки, – Проня дал ему воды из фляжки. – Это они, Cepera, в азарт вошли…

В тени стало легче.

– Ни хрена вы не замечаете, – шипел между тем летчик. – Наблюдательность – ноль… Привыкли через щель смотреть… Никакого сектора, я только руками развожу.

– Сказать все можно, – гудел Тетюков. – В данное время вы для меня штатское лицо…

– Я тебе покажу штатское! – заревел летчик. – Я с сорокового командир ВВС. Ты каблучки‑то сдвинь, сдвинь. Ну‑ка пошли кому не лень.

Не лень было только Тетюкову. Они пошли обратно вдоль пакгауза, совсем недалеко отошли.

– Дядя, – летчик ткнул в проход между бочками палкой, – выйди‑ка сюда. Да выйди, я тебя не обижу, не стесняйся… И напарничка с собой захвати… Ага‑ага, – ликовал летчик. – Кто я буду? Командир Красной Армии буду… Выйди, разговор есть… Я тебя с одним гражданином познакомлю…

И пошел в глубь штабеля бочек.

Лисовец покупал черешню. Остальные продолжали раздраженно смотреть и только вдруг успели увидеть, как ахнул Тетюков, схватившись за кобуру, выдергивая оттуда оружие.

За бочками треснуло, непонятно было, кто стреляет и в кого. Все побежали. Сережа побежал тоже, но поскользнулся в какой‑то жиже. А когда вскочил, первым увидел Проню, карабкающегося вдоль стены по штабелю вверх. Потом Лисовца, который отгонял народ, и только потом летчика. Брезентовый плащ у летчика был наполовину спущен и путался в ногах, как юбка. Двумя руками летчик держался за бок, и на зеленой больничной пижаме его разливалось кирпично‑красное пятно. С другой стороны штабеля появился лейтенант и заорал, сделав ладони рупором, чтобы эти оттуда выходили, подняв руки над головой, потому что иначе будут уничтожены в течение двух минут.

– Здесь для вас адвокатов нет! – крикнул лейтенант.

– Здесь танкисты! – тоже заорал Проня. – Гвардейскую артиллерию не нюхали?

Напрягшись, он поднял здоровенную бочку и швырнул ее куда‑то вниз. Неожиданно оттуда треснул выстрел. Проня сиганул с бочек. Через толпу продирался Арпепе, и маленькая девочка плакала и тащила его за волосы.

– Ребеночка пока кто‑нибудь возьмите, – умолял Арпепе.

– Телегу гони! – крикнул ему Сережа. – У нас человек пораненный!

И встал на место, указанное ему лейтенантом, подняв с земли кирпич.

– Не везет мне, – летчик замахал руками. – Майор Бок будет зашивать мне бок. Это я синонимы применил…

И вдруг обвис на руках у Лисовца.

Проня достал из мешка лимонку, лейтенант заорал толпе, что разлет осколков до двухсот метров, что он не отвечает, и встал напротив прохода рядом с Сережей. Подумал, потянул Сережин кирпич к себе и отдал Сереже наган.

– Мы с ними потом разговаривать хотим! – крикнул лейтенант Проне. – Ты сообрази, как кидать‑то, голову приложи… – Подождал, пока до Прони дошло, и легонечко кивнул. – А если понял, тогда давай…

Вверх полетели щепа и доски, даже железный обруч успел Сережа заметить.

Штабель проседал. Там что‑то скрипело еще, когда на площадь пробрался грузовичок с никелированной фарой на кабине. Впереди бежал потный милиционер без фуражки.

Двое вылезли из‑под разбитых бочек и щепы. Один тряс, тряс головой и, проходя мимо Сережи, вдруг укусил себя за поднятую вверх руку и заплакал. Из полосатого его пиджака, из спины и плеч, даже из брючины возле колена торчала, воткнувшись, острая щепа. Второй шел не торопясь, смотрел на небо, будто подставляя лицо солнцу, будто греясь. Повернулся, встретился с Сережей глазами, задержал взгляд. Глаза были выпуклые, никакого выражения Сережа в них не увидел. Лицо было знакомое – Зинкины туфли он торговал. Посмотрел, вздохнул, отвернулся и так бы покойно и прошел до грузовичка, куда милиционеры и Кордубайло усаживали раненого летчика, если бы Проня не сцепил вдруг ладони, будто колун, и этими сцепленными ладонями не навернул бы его по шее. Лупоглазый пролетел вперед, ударился о того, в щепе, они упали и, покуда вставали, все старались держать руки кверху, и второй вдруг пронзительно закричал, что это самосуд и чтобы подошла милиция. Но милиция не подходила, посмеивалась и глядела в сторону.

Неожиданно с крыши пакгауза стала осыпаться черепица, что‑то там нарушилось, и она падала, падала, стукалась друг об друга и кололась.

Потом приехал Арпепе с телегой и стал успокаивать дочку, которая плакала и кричала.

Они опять сидели у трамвайного кольца. Красная кирпичная госпитальная стена была рядом, рукой подать. Там стоял грузовичок, водитель спал, спрятав лицо в тень ската. Раненые сигали через стену, таскали им еду, один судки с кухни подтырил.

Гречишкин появился вместе с Леной, ноги циркулем – раз‑два вышагивают стремительно. У Лены кастрюлька с компотом – таких здесь на траве уже штук шесть, – у Гречишкина длинная папироса, какие Бок курит. Поздоровался со всеми за ручку, будто не виделись, и сразу пошел к крану пить воду.

– Мы летчика навещали, – Лена отпила компоту. – Гречишкин от лица службы, а я с цветочками… В палате у него народу, а он сам макароны кушает… «Плюньте, – кричит, – мне кто‑нибудь в макароны, а то остановиться не могу… Чудные такие макароны».

– Придется тебе, Cepera, к вечеру сдаваться. – Гречишкин свистнул шоферу заводить. – У тебя дома медсестра засела, не баба – Кощей. Теперь. Меня у Бока комендант разыскал… «Я, – говорит, – может, лично ваше уважение разделяю, но поймаю – посажу… Если, – говорит, – не посажу, они следующий раз на самоходке приедут»… Так что вас водитель отвезет, он знает. – Лицо у Гречишкина набритое, пахнет одеколоном, говорит – в глаза не смотрит. И добавил, когда уже в кузов полезли: – Сколько я этой дряни переловил и каких сил это стоило, а вы прибыли, раз – и в дамках… Случайность… А все же таки случайность – проявление закономерности. А в чем закономерность – ухватить не могу…

– А ты не ухватывай, – сказал лейтенант. – Удача – такое дело…

Птицы возвращались на ночевку в город, и легкие их тени беззвучно неслись навстречу машине. Ехали бульварами, и листва старых кряжистых деревьев казалась отлитой из металла.

Проехали Сережин дом. Медсестра в мамином синем халате поливала из шланга двор. Рядом с ней стояла мама, прижав к груди пеструю подушку, и что‑то говорила. У следующего перекрестка Сережа увидел Зинку. Он постучал по кабине, попросил минуту подождать и постарался спрыгнуть половчее, оставив в кузове палку.

– Здорово, Зинок… – никогда он ей так не говорил, знакомая тяжесть легла под сердце и опять мешала дышать.

– Сереженька, тебя выписали? Маму видел?

Ничего в ней не изменилось, хотя вот зонт купила.

– Ты чего не на работе?

– Я теперь технолог в пошивочном ателье… Пальто шьем, костюмы, даже шапки… Люди обносились, все гимнастерочки, – она ткнула пальцем в Сережину гимнастерку.

– Начался индивидуальный пошив, – вспомнил Сережа.

– Вот именно. Дело новое, я очень устаю. Твоя мама получила талон на материал, и мы все спорим, какой цвет тебе к лицу. Ты скоро домой?

– Скоро, – кивнул Сережа и пошел к машине.

– Дама, смотрите в объектив, я вас фотографирую! – опять ликовал Кордубайло.

Эшелон они ждали на воинском грузовом перроне за городом.

– Мы отсюда на фронт дернули, – сказал Сережа. – Вот за той водокачкой.

– А я всегда мечтала прыгнуть с парашютом, – Лена раскинула руки. – Незабываемое, наверно, чувство парить. Верно?

Загудело. Лейтенант забеспокоился и приказал разобрать вещи.

Черные, блестящие, с боковыми щитами от ветра, на большой скорости два паровоза тянули эшелон. Три классных вагона, потом платформы, теплушки.

– Дыма почти нет, – сказал Тетюков, – не будет тормозить. Когда тормозят, всегда дым, вы со мной не спорьте…

В эту же секунду эшелон стал тормозить. Лейтенант побежал, показав Тетюкову кулак. В окнах первого классного отражались все они, почти бегущие по перрону. Сережа отстал. И теперь в окнах следующего вагона проходили только он и Лена.

В эшелоне ехали моряки. Лейтенант предъявил предписание мичману с повязкой дежурного по городу. Мичман поглядел его на свет и показал на теплушку в середину эшелона.

Кордубайло щелкнул фотоаппаратом, что‑то крутанул, послушал одному ему понятные звуки и сунул аппарат Сереже.

– Я, Кружок, все равно проявлять не умею, у меня три класса. Бегаешь, бегаешь, пока допросишься. Теперь уж ты давай… Тем более у Хирохито тоже наверняка подобное имеется…

И побежал. И все побежали к теплушке, уже не оборачиваясь.

Лена с Сережей стояли, потом побежали за ними, но он отставал. На платформах баркасы, баркасы, на банке одного сидел морячило.

Паровозы засвистели, дернули состав, матрос на баркасе помахал Сереже рукой, ленточки бескозырки были завязаны у него под подбородком.

Подаренный Кордубайло аппарат выпал, Сережа не остановился.

Теплушка приближалась, оттуда торчала труба, из трубы шел дым, и там лаяла собака.

Лейтенант, уже без фуражки, обернулся, что‑то крикнул в глубь теплушки, и, еще не понимая, что он делает, Сережа бросил палку и схватился за дверь. Его поволокло, ударило об вагон. Он услышал, как закричала Лена, успел увидеть, как кончился перрон, и землю увидел, и траву под своими висящими ногами. Его держали за штаны, за гимнастерку… Наконец рванули и втянули внутрь.

Сережа сидел на полу, ему казалось, что провода со столбов вдоль линии бросаются на грудь.

– Ну, гад ты, Cepera, – сказал Кордубайло. – Такой аппарат погубил…

– И дадут мне за тебя, Кружок, десять суток, – сказал лейтенант. – Правда, может случиться, опять после войны, а? – И, обернувшись к нарам, где сидели матросы, предложил: – Давайте, товарищи моряки, ужин готовить… Ваша каша, наши песни…

Сережа высунулся в дверь. Эшелон грохотал через город, мимо высоких, довоенной постройки, домов.

Эшелон выгибался, клочья паровозного дыма сделались густыми и стали закрывать дома.

– Прошло сорок лет. Я не стал географом, я преподаю литературу. Литература вбирает в себя многое, и я не жалею. Я живу в том же городе, преподаю и, кстати, директорствую в той самой сорок третьей школе. Даже номер не изменился. Недавно меня вызвали в военкомат. Оказывается, меня нашла медаль «За победу над Японией»… Я долго тогда не был поставлен на довольствие в части, и все это привело к путанице. В ту ночь после военкомата у меня была бессонница. Я не сплю без снотворных, а Лена забыла их заказать. Такая необязательность.

Я не спал и все вспоминал, вспоминал… Как один день прошел, как один день. А ведь жизнь.

По темноватой улице идут трое – Сережа, Карнаушка и Перепетуй. На Сереже и Перепетуе лыжные штаны и пальто, из которых они выросли. Карнаушка в кожаной куртке и отцовских хромовых сапогах, которые ему велики. Они идут в ногу, и Карнаушка говорит:

– Ать‑ать…